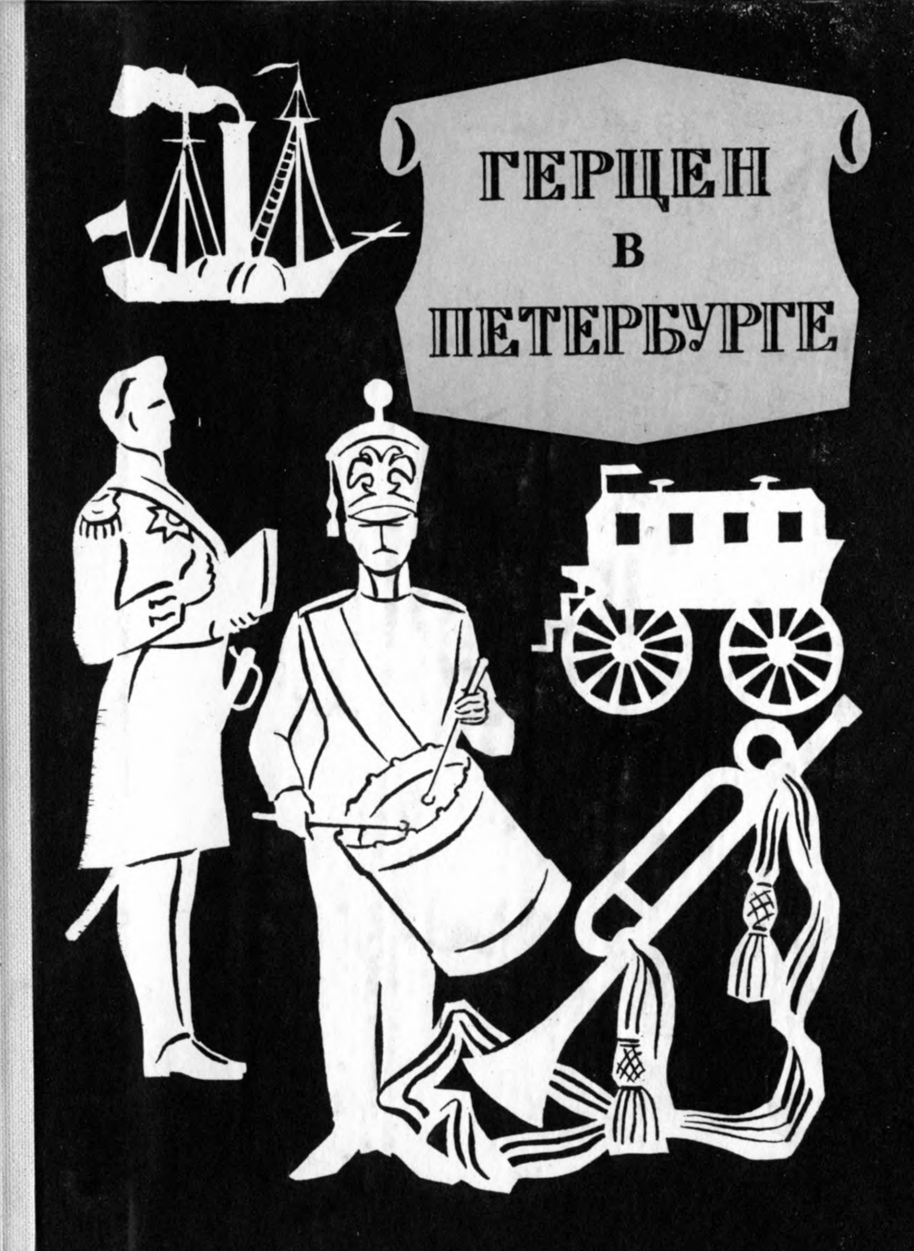
• ГЕРЦЕН В ПЕТЕРБУРГЕ •





А. И. Герцен.
Рисунок А. Л. Витберга. 1836 г.

М. ПЕРКАЛЬ

ГЕРЦЕН В ПЕТЕРБУРГЕ

ЛЕНИЗДАТ
1971

$\frac{7-2-2}{113-1971}$

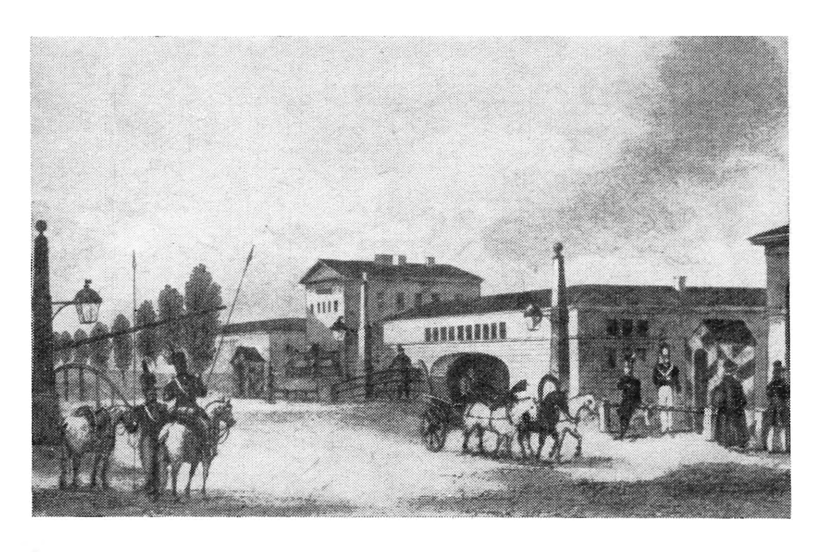
ВПЕРВЫЕ В ПЕТЕРБУРГЕ



Вечером 14 декабря 1839 года московский дилижанс, преодолев за три с половиной дня расстояние в 680 верст, доставил пассажиров в Петербург. У городской заставы дорогу преградил шлагбаум. Гарнизонная охрана проверила документы, записала имена и звания приехавших. Два дня спустя в «Прибавлении» к официальным «Санкт-петербургским ведомостям», регулярно печатавших фамилии прибывших «в столичный город С.-Петербург», можно было прочесть: «Из Москвы... состоящ<ий> при владимирск<ом> гражд<анском> губернаторе по особ<ым> поруч<ениям> тит<улярный> сов<етник> Герцен».

Приезд в столицу — важное событие в жизни Александра Ивановича Герцена.

Позади остались годы тюрьмы, ссылки, полицейского надзора в Перми, Вятке, Владимире — пять лет разлуки с близкими и друзьями. Еще в 1834 году, через год после окончания Московского университета, Герцен был арестован и предстал перед следственной комиссией. В руках полиции оказались его друзья и



Въезд в Петербург со стороны Обводного канала. *Гравюра 1830-х гг.*

знакомые Николай Огарев, Николай Сатин, Владимир Соколовский, Иван Оболенский — всего двадцать человек. При аресте были отобраны письма, рукописи художественных произведений, программа издания журнала и другие материалы.

Власти были убеждены, что раскрыто тайное общество, готовившее вслед за декабристами новый заговор против верховной власти.

Девять месяцев тянулось расследование, но так и не удалось доказать существования «злонамеренного общества». Несмотря на это, арестованные подверглись суровым наказаниям. Поэт Соколовский и двое его

друзей были заключены в Шлиссельбургскую крепость. Огарев получил предписание отправиться в Пензенскую губернию, Сатин — в Симбирскую. Герцен, как «смелый вольнодумец, весьма опасный для общества», был сослан в Пермь, под надзор полиции. Скоро его перевели в Вятку, а через два года — во Владимир.

Лишь в июле 1839 года, благодаря хлопотам влиятельных лиц, с Герцена был снят полицейский надзор. Одновременно владимирский губернатор Иван Эммануилович Курута, благожелательно относившийся к сосланному под его начальство чиновнику, представил Герцена к очередному чину. Снятие полицейского надзора означало также разрешение жить в «обеих столицах».

Отец Герцена, Иван Алексеевич Яковлев, настоял на том, чтобы сын продолжил службу в Петербурге. Он считал, что в «невской резиденции» можно быстрее получить чин коллежского асессора, который давал дворянство и право наследовать имение. Для устройства дел Герцен и приехал в Петербург, оставив во Владимире жену Наталью Александровну и шестимесячного сына Сашу.

«Ну вот, душа моя, — писал Герцен жене 14 декабря, — твой Александр почти за 1000 верст от тебя сидит в комфортабельном № de l'hôtel des diligences...[1]»

Письмо было написано в номере гостиницы дилижансов. Она находилась в доме Ф. Д. Серапина на Царскосельском проспекте, 7 (ныне Московский проспект, 20). Здесь же помещалась «Контора дилижансов первоначального заведения».

---

[1] Гостиница дилижансов (*франц.*).

ПРІѢХАВШІЕ ВЪ СТОЛИЧНЫЙ ГОРОДЪ С. ПЕТЕРБУРГЪ ДЕКАБРЯ 14 и 15 ДНЯ 1839 ГОДА.

Изъ Вильно, Генеральн. Штаба Шт. Кап. *Зеландъ*.
Изъ Москвы, отст. Маіоръ *Семеновъ*.
Оттудаже, Астраханск. Губернск. Правленія Совѣтн. Кол. Асс. *Мальцовъ*.
Оттудаже, состоящ. при Владимірск. Гражд. Губерн. по особ. поруч. Тит. Сов. *Герценъ*.
Оттудаже, тамошн. купецъ *Первовъ*.
Оттудаже, отст. Кол. Асс. *Нагибинъ*
Оттудаже, Гв. Семеновскаго полка Кап. *Павловъ*.
Оттудаже, Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Михаила Павловича Адъютан. Гв. Литовск. полка Полковн. *Грессеръ*.

Извещение о приезде Герцена в Петербург в «Прибавлении к „С.-Петербургским ведомостям"» 17 декабря 1839 г.

В первом письме из Петербурга Герцен, конечно, не мог упомянуть о том, что в тот же вечер он отправился на Сенатскую площадь. Знакомство с столицей Герцен хотел начать с места, где ровно 14 лет назад произошло восстание декабристов.

Площадь была пустынна. Памятник Петру I и купол Исаакиевского собора вырисовывались на фоне ночного неба. Перед глазами вставала картина разыгравшихся здесь драматических событий...

Весть о восстании дошла тогда до Москвы через три дня.

По городу начали распространяться загадочные слухи: в Петербурге был бунт и на Галерной стреляли «в пушки».

Подробности о «бунте» Герцен услышал 18 декабря. В этот день И. А. Яковлева навестил приехавший из Петербурга командир отдельного корпуса внутренней стражи генерал-лейтенант граф Комаровский. Это был сослуживец Ивана Алексеевича по Измайловскому полку. Комаровский находился на Сенатской площади с самого начала событий, выполняя поручения Николая I, и заслужил его «высочайшую» благодарность. После разгрома восстания царь, в виде особой милости, поручил именно Комаровскому объявить в Москве о своем восшествии на престол. Генерал выехал из Петербурга во вторник 15 декабря, а в ночь на воскресенье 20 декабря, точно исполнив все поручения Николая I, находился уже по дороге в Петербург. Услуги генерала не были забыты: тотчас по возвращении он был награжден орденом Александра Невского.

Накануне отъезда из Москвы, побывав в доме Яковлева в Большом Власьевском переулке, Комаровский рассказал подробности о восстании — о каре́ на Сенатской площади, о конногвардейской атаке и смерти графа Милорадовича.

Рассказ Комаровского вскоре получил подтверждение: 19 декабря 1825 года в газете «Русский инвалид» в разделе «Внутренние известия» появилось первое правительственное сообщение. Затем отдельными листовками и брошюрами были напечатаны «Донесение следственной комиссии», «Доклад Верховного уголовного суда», «Роспись государственным преступникам» и другие материалы. На основании официальных документов невозможно было составить верное представление о том, что произошло в Петербурге. Правительство клеветало на восставших. Намерения их определялись как «злодеяние», а цель — как «умерщвление императорской фамилии, безначалие, разграбление имуществ,

убиение всех мирных граждан». Ложь понадобилась для того, чтобы оправдать расправу над участниками восстания. «...Примерная казнь будет им справедливым возмездием», — писал «Русский инвалид» еще до окончания следствия и суда, стремясь подготовить соответствующим образом общественное мнение.

Герцен чувствовал себя наследником декабристов, продолжателем их дела, мстителем за их гибель. Еще в июле 1826 года он стал свидетелем торжественного молебна в Кремле. При огромном стечении народа, под грохот пушек царская семья молилась «за избавление от крамолы, угрожавшей бедствием всему российскому государству».

«Мальчиком четырнадцати лет, потерянным в толпе, я был на этом молебствии, — писал впоследствии Герцен, — и тут, перед алтарем, оскверненным кровавой молитвой, я клялся отомстить казненных и обрекал себя на борьбу с этим троном, с этим алтарем, с этими пушками».

Сейчас в Петербурге и трон, и алтарь, и пушки, и сам Николай были рядом — в нескольких шагах. Но время борьбы еще не наступило...

Весь следующий день прошел в разъездах и хлопотах. Герцен переехал в самый центр, в гостиницу «Лондон». Она находилась на углу Невского проспекта и Адмиралтейской площади. Своим фасадом дом был обращен к Неве. Герцен снял двухкомнатный номер «с прекрасным видом» за сорок рублей в неделю. «...Шпиц Адмиралтейства перед самым окном моим», — сообщал он. Герцен побывал у чиновника, прежде ведавшего делами братьев Яковлевых; затем осмотрел памятник Петру I, любовался панорамой Дворцовой площади.



Адмиралтейская площадь. *Литография 1830—1840-х гг.*

В этот день Петербург предстал перед Герценом сквозь густую пелену валившего хлопьями снега; холодный ветер пронизывал до костей. Стояла необычайно холодная зима. 16 декабря «Ведомости С. П. Бургской городской полиции» сообщали читателям: «Во время бывших сильных морозов, в течение десяти дней, из числа жителей здешней столицы умерло скоропостижно разного сословия людей — в домах — 29, на улицах — 4, замерзших иногородних найдено 2 человека...»

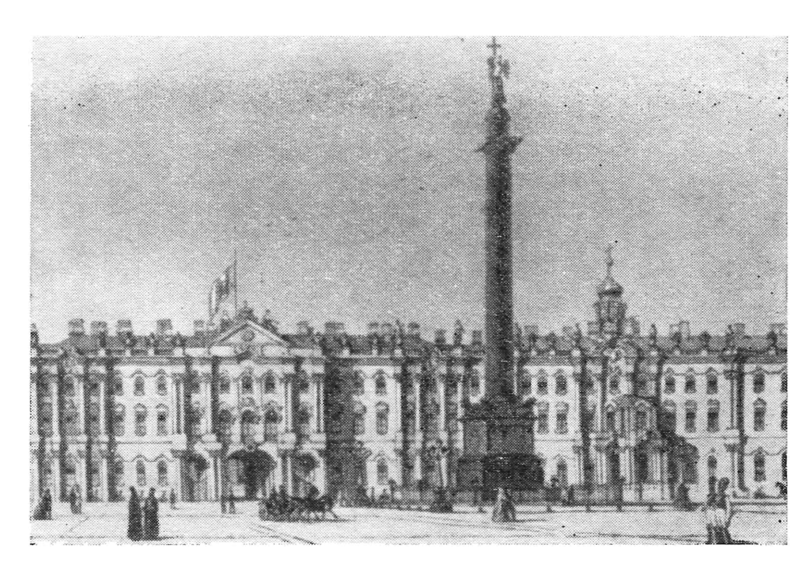
После жизни в Вятке и Владимире, после патриархальной Москвы Герцен не мог не почувствовать учащенного биения пульса Петербурга. «...Главное отличие

от Москвы, — делился он своими наблюдениями с Натальей Александровной, — чрезвычайная комфортабельность, бóльшая пышность и комнат и платья; деятельность торговая и административная главного города целой части света». Герцен признавался, что первое впечатление «было не в пользу Петербурга». В многолюдном большом городе острее чувствовалось одиночество, не покидало волнение, вызванное ощущением свободы, и тревога об оставшейся во Владимире семье. Перспектива жить в столице, может быть долгие годы, не радовала. «Мы готовимся переехать сюда, много страшного в этом», — признавался Герцен.

Даже неповторимый архитектурный облик города вначале не вызвал восхищения. О большинстве зданий и монументов столицы Герцен сообщал весьма сдержанно.

К моменту приезда Герцена в Петербурге продолжалось строительство Исаакиевского собора. Освобожденное от лесов здание предстало перед взорами петербуржцев. «Северная пчела», стремившаяся публиковать интересующие читателя материалы, писала 2 января 1840 года: «Когда положено было основание новому зданию по плану архитектора Монферана (в 1820 г.), в городе носились слухи, что храм будет кончен постройкою в течение пятидесяти лет... Но слухи оказались несправедливыми... и мы в текущем, 1840 г., увидим вчерне все здание, т. е. всю наружность собора. Удивляясь великолепию здания в рисунках и модели, мы никак не могли вообразить себе того величия, в котором храм сей представляется теперь, по снятии лесов с верхней части здания».

Герцен в письме к жене ограничился коротким сообщением: «Хороша будет Исаакиевская церковь».



Дворцовая площадь. *Рисунок А. Дюрана. 31 октября 1839 г.*

Даже памятник Петру I, знакомый по многочисленным изображениям и ставший образом-символом Петербурга, если не разочаровывал, то и не вполне удовлетворял. В памятнике Петру не удовлетворяла... фигура самого Петра. «...Чудно хорош и монумент Петра, — писал Герцен, — но в нем мне именно все нравится, кроме Петра: какое-то натянутое, педантски академическое положение, зато лошадь и огромная масса гранита как пьедесталь великому царю выкупают все».

Лишь Зимний дворец произвел на Герцена неизгладимое впечатление. Долго стоял он в центре площади

у подножия Александровской колонны и смотрел на величественное здание. В сложной композиции Зимнего, в причудливой игре светотени, в разнообразии и богатстве скульптурных украшений — во всем облике творения Растрелли Герцен улавливал, по его выражению, «то широкое, многообразное изящество, которое находим мы в трагедиях Шекспира».

Но воображение его рисовало и картину грандиозного пожара, которым был охвачен Зимний два года назад.

Пожар начался 17 декабря 1837 года.

Пожарные команды и войска не могли справиться с огнем. Тогда стали спасать сокровища. Скульптура, гобелены, мебель, картины — все это складывалось к подножию Александровской колонны, в том месте, где стоял Герцен теперь.

Пламя бушевало три дня. Уцелели лишь обгорелые стены да сводчатые перекрытия. Вся внутренняя отделка была уничтожена огнем.

Здание еще дымилось, когда началось его восстановление. Была создана специальная комиссия во главе с архитекторами В. П. Стасовым и А. П. Брюлловым. Почти уничтоженный дворец обнесли высоким забором, и, по словам современника, «богатырская работа закипела, но так стройно, тихо, в таком порядке, что мы, жители городские, могли бы думать, что около дворца еще не делается ничего, что то приготовления только для будущей его отстройки». Эта кажущаяся тишина таила за собой титанический труд строителей. Около 8 тысяч мастеровых в тяжелейших условиях трудились над восстановлением фасадов и отделкой залов. Морозы стояли суровые. Чтобы стены просыхали быстрее, внутри помещений поддерживали тридцатиградусную жару. Болезни косили людей.

Дворец был восстановлен за пятнадцать месяцев. «Колоссальным архитектурным подвигом» назвал современник труд безвестных русских умельцев — каменщиков, штукатуров, лепщиков, столяров, воссоздававших здание заново.

Как зачарованный стоял Герцен перед возрожденным творением Растрелли. «...Я не смотрел, стоя у колонны, ни на главный штаб, ни на министерство, а на один дворец — лучше я ничего не видывал даже на картинах...» — писал Герцен.

ВСТРЕЧИ



оздно вечером 14 декабря, возвратившись в гостиницу с Сенатской площади, Герцен застал у себя в номере родственника. Об этой встрече он рассказал в «Былом и думах», но, боясь скомпрометировать своего гостя, не назвал его имени. Это был двоюродный брат Герцена Сергей Львович Левицкий.

После обычных при первой встрече вопросов Герцен заговорил о том, что больше всего волновало его в этот вечер, — о восстании 14 декабря, о Сенатской площади. Слова о декабристах произвели на Левицкого странное впечатление. «Родственник, — вспоминал Герцен, — не меняя нисколько лица, одними зрачками телеграфировал мне упрек, совет, предостережение; зрачки его, косясь, заставили меня обернуться — истопник клал дрова в печь... Родственник мой принялся тогда меня упрекать, что я при истопнике коснулся такого *скабрезного* предмета, да еще по-русски». Перед уходом гость еще раз советовал быть осторожным. В ответ на иронический вопрос Герцена: «Ну, а прачка тоже числится по корпусу жандармов?» — заметил: «Смейтесь,

смейтесь, вы скорее другого попадетесь; только что воротились из ссылки — за вами десять нянь приставят».

Провожая сына в Петербург, Иван Алексеевич наказывал в разговорах никому не доверять — от кондуктора дилижанса до тех знакомых, к которым адресованы рекомендательные письма. Опасения отца казались тогда преувеличенными. Но теперь, в первые же часы пребывания в столице, Герцен услышал предостережение и от другого человека. Тот же совет ему пришлось услышать и в третий раз.

Перед отъездом в Петербург он сообщил Наталье Александровне адрес для писем: «Его высокоб<лагородию> Ивану Яковлевичу Лисенкову. В С.-Петербург. В канцелярию г. обер-прокурора Священного синода. *Для доставления Герцену*».

Иван Яковлевич, бывший поверенный отца Герцена, служил экзекутором и казначеем в канцелярии Синода и располагал широкими знакомствами в чиновничьем мире. Герцен рассчитывал на его совет и помощь в своих хлопотах о получении чина.

Лисенков (точнее — Лисенко) жил на Невском проспекте, в доме духовно-учебного управления Синода (ныне Невский проспект, 59). Здесь его и застал Герцен.

Это был уже пожилой человек, из малороссиян, говоривший с «вопиющим акцентом по-русски». Во время беседы Герцен упомянул о своем аресте и ссылке. Иван Яковлевич, казалось, вовсе не слушал, перебивал и говорил сам. Видя, что гость уже собирается уходить, отвел его к окошку и, пугливо оглядываясь и наклонив голову, дал совет — «не очень поговаривать» при посторонних насчет приключившейся с ним «гистории»: «...ви что-то молвили при моей кухарке, —

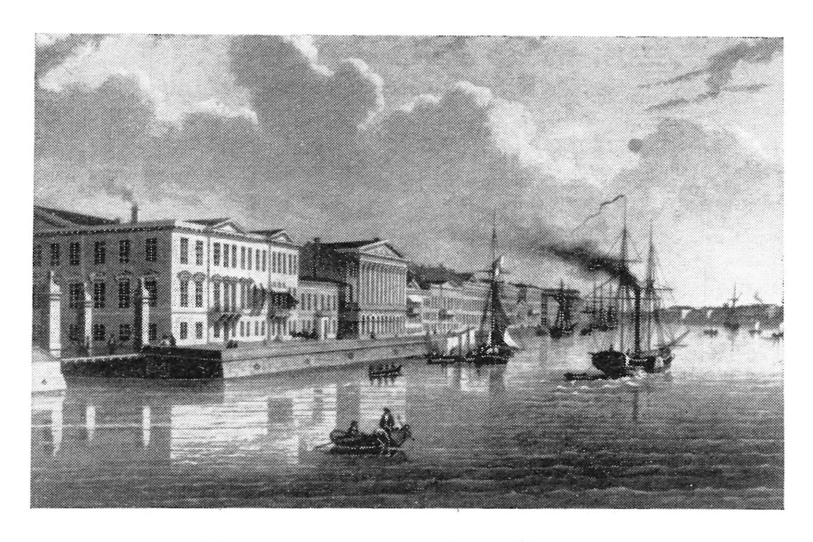
чухна, кто ее знает, я даже так немножко — очень испугався».

Вспомнился наказ отца, предупреждение Сергея Львовича. Даже в крике кучера «гись, гись!» слышалось теперь предостережение — «берегись, берегись!».

Тягостное чувство вызвала и другая встреча. «...Сегодня был я в вашем доме и ушел скоро, что-то грустен он, разваливается», — писал Герцен жене 15 декабря. Скупые, как бы вскользь брошенные слова, но за ними — целая история, хорошо понятная Наталье Александровне. Дом некогда принадлежал ее отцу, А. А. Яковлеву. Теперь его владельцем был брат Натальи Александровны, Алексей Александрович Яковлев.

Дом был построен еще в 30-х годах XVIII века. В связи с участившимися пожарами императрица Анна Ивановна в 1732 году издала указ, которым обязывала владельцев земельных участков на набережной Невы строить только каменные дома. Через год три свободных участка на Нижней набережной (позже она стала называться Английской) были отданы родственникам царской фамилии — Скавронскому, Гендрикову и Ефимовскому. В 1733 или 1734 году генерал-майор граф Ефимовский построил здесь небольшой особняк. В начале XIX века его владельцем стал дядя Герцена — Александр Алексеевич Яковлев.

Карьера Яковлеву не удалась. Начав службу, как и отец Герцена, в лейб-гвардии Измайловском полку, он в 1803 году был назначен обер-прокурором Синода. Но скоро был смещен Александром I за необузданный нрав и непрестанные ссоры с высшим духовенством. Попытки снова поступить на службу и обрести прежнее положение неизменно заканчивались неудачей. Сам



Английская набережная. Дом А. А. Яковлева — второй слева. *Гравюра Мартенса. 1830-е гг.*

Яковлев считал себя несправедливо обиженным, пострадавшим «за правду». С братьями он был в ссоре и почти не встречался.

Вспоминая в «Былом и думах» о дяде, Герцен дал волю своему негодованию и боли. Не многие страницы «Былого и дум» проникнуты таким нескрываемым презрением к жизни «отцов», как этот рассказ об Александре Алексеевиче. «Он был человек даровитый от природы и всю жизнь делал нелепости, доходившие часто до преступлений, — писал Герцен. — Он получил порядочное образование на французский манер, был очень начитан, — и проводил время в разврате и праздной пустоте до самой смерти».

2 Зак. № 1701/л

Последние годы Яковлев прожил в Петербурге, в своем особняке на Английской набережной. Здесь прошло детство Натальи Александровны. Отвечая на письмо, в котором Герцен сообщил о посещении их дома, она сожалела: «А тебе, душка, некому было указать в нашем доме, где мой уголок там был, где я играла, где спала. Может быть, ты у того окна смотрел на Неву, у которого я так любила сидеть на столе».

Мы почти ничего не знаем о детстве Натальи Александровны. Несколько раз она собиралась писать о своем «былом», сохранился даже краткий план ее автобиографии. Но намерение осталось неосуществленным. Лишь по нескольким беглым замечаниям в ее письмах можно в самых общих чертах представить картину ее детства.

Дочери богатого барина Яковлева и крепостной женщины Анисьи Ивановны Захарьиной, Наташе, с детства внушали мысль о «стыде» ее рождения. Она любила свою мать, но была разлучена с ней. Трудно сказать, как складывались отношения Наташи с отцом. В нескольких письмах она называет его «папенькой», говорит, что его смерть — самая мрачная пора ее жизни.

Навсегда запомнился девочке большой сугроб снега на могиле отца, когда ее увозили из Петербурга.

Незадолго до смерти (Яковлев умер в начале 1825 года) он усыновил своего внебрачного сына Алексея. Оставив других детей без всякого обеспечения, он передал Алексею все свое состояние, в том числе и дом в Петербурге. Это было сделано вовсе не из-за любви к сыну и его матери, а с единственной целью — досадить братьям, лишив их наследства.

Свою неприязнь к покойному Яковлевы, в том числе и отец Герцена, перенесли на его наследника. Юный Герцен, болезненно воспринимавший любую несправедливость, с чьей бы стороны она ни исходила, жалел своего двоюродного брата. Он изредка навещал его в Москве.

Алексей Александрович страстно увлекался естественными науками. Нелюдимый, замкнутый, не любивший появляться на людях, он мог часами просиживать в своем кабинете, уставленном приборами, ретортами, пробирками, книгами. В барской Москве Алексея Александровича презрительно называли «Химиком» за его страсть к наукам. Грибоедов, по свидетельству двоюродной сестры Герцена Т. П. Пассек, имел в виду А. А. Яковлева, когда писал в «Горе от ума»:

Чинов не хочет знать! Он химик, он ботаник,
Князь Федор, мой племянник.

Влиянию Химика Герцен обязан своим интересом к естественным наукам, по его совету он поступил на физико-математическое отделение Московского университета. Однако скоро в их дружеских отношениях наступило охлаждение. В конце 30-х годов Герцен писал Наталье Александровне о «бездушии», «испорченности», «холодном эгоизме» Химика. По-видимому, это вполне подтвердилось теперь во время встречи в Петербурге.

Т. П. Пассек, в конце 1850-х годов навестившая Химика в его доме на набережной Невы, оставила любопытные воспоминания: «Войдя в комнаты, в которых не слышно было ни звука, ни движения, я увидела те же предметы и на всем тот же отпечаток, который десятки лет тому назад видела в его

пустынном московском доме. Среди залы стоял длинный стол, загроможденный машинами, стеклянными ретортами; стены были обставлены шкафами, битком набитыми книгами; в гостиной встретили меня знакомые мне фигурные зеркала и рогатые канделябры...»

Можно думать, то же видел и Герцен в 1839 году, когда посетил Химика в его доме на Английской набережной.

В конце 1860-х годов Химик продал или передал дом другому лицу, оставшись в нем жить на правах арендатора. Среди архивных материалов сохранился документ под названием: «План двора купца Захарова, арендуемого статским советником Алексеем Александровичем Яковлевым. Адмиралтейской части 2-го участка по Галерной улице, под № 43» (датирован 5 сентября 1867 года). В дальнейшем особняк часто переходил из рук в руки.

Дом сохранился до наших дней. Если пройти по набережной Красного флота, то нельзя не обратить внимания на небольшой двухэтажный особняк рядом с величественным зданием Музея истории Ленинграда. Окна с незатейливыми наличниками, выступающая вперед средняя часть фасада с широкой дверью, окна подвалов, до половины скрытые тротуаром, напоминают облик старинных домов первой трети XVIII века, которыми застраивалась тогда набережная.

Владельцы дома неоднократно пытались придать ему более нарядный вид — достроить дом и флигели, со стороны Галерной (ныне Красной) улицы, до трех и даже до четырех этажей, увенчать фасад фронтоном, украсить гербами и лепкой. Но все эти проекты остались на бумаге. Лишь над входной дверью на набережной появился двускатный железный козырек с



Бывш. дом А. А. Яковлева. Набережная Красного флота, 42. *Фотография 1970 г.*

металлическими колоннами-опорами. В остальном внешний вид дома оставался таким же, каким его видел Герцен в 1839 году.

Визиты к родственникам завершились посещением сестры Натальи Александровны, Анны Александровны Орловой. Она жила недалеко от Казанского собора, на Большой Мещанской улице (ныне улица Плеханова). Орловы Герцена приняли «как брата», просили переехать к ним.

17 декабря произошла встреча, о которой Герцен в тот же день писал жене: «Сегодня мне счастье, с утра пошло хорошо, я был у Жуковского — он тот Жуковский, о котором писано в „I Maestri...“».

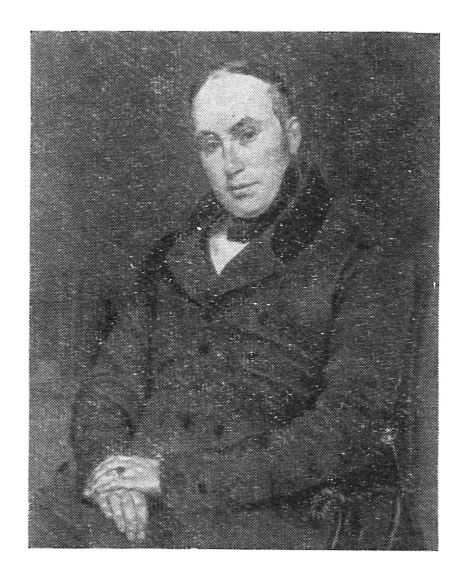
Как воспитатель наследника, В. А. Жуковский жил при Зимнем дворце, в так называемом Шепелевском доме (его прежним владельцем был камергер Шепелев). Сейчас на этом месте высится здание Нового Эрмитажа, построенного в 1842—1852 годах прошлого века по проекту архитектора Л. Кленце.

Квартира Жуковского помещалась в верхнем этаже. Посетители попадали в обширный кабинет, знакомый по картине Г. К. Михайлова, А. Н. Мокрицкого и других учеников А. Г. Венецианова. Это была невысокая, несколько приземистая комната с большими окнами. Массивный письменный стол-секретер, белый мраморный камин, уставленный скульптурой. По обеим сторонам камина — кресла и мягкий кожаный диван. Стены украшены картинами и портретами.

Здесь бывали Пушкин, Гоголь, Кольцов, Одоевский, Крылов, композитор Глинка. Многие русские писатели обрели в Жуковском своего наставника и друга. Он поддержал молодого Гоголя, помог выкупить из крепостной неволи Шевченко. Пушкин, Баратынский, И. Киреевский, многие декабристы обязаны Жуковскому заступничеством перед властями.

Жуковский принял горячее участие и в судьбе Герцена.

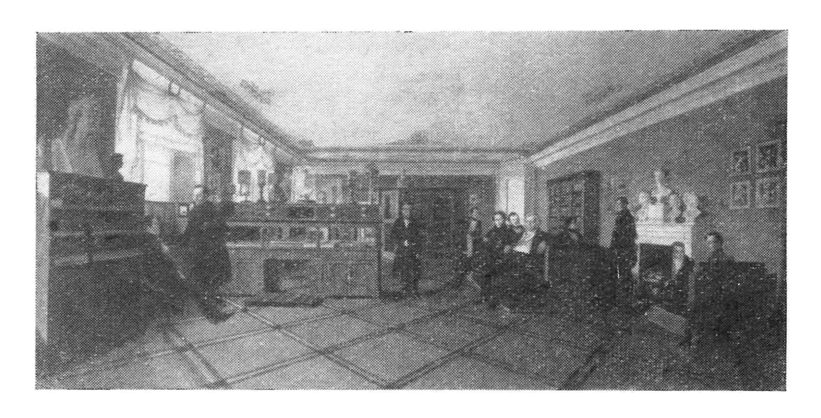
В 1837 году, когда Герцен томился в вятской ссылке, наследник престола, будущий император Александр II, путешествовал по России. Его сопровождали В. А. Жуковский, историк К. И. Арсеньев и целая свита штатских и военных чинов. 18 мая 1837 года наследник



В. А. Жуковский. *Портрет работы К. П. Брюллова. 1837—1838 гг.*

прибыл в Вятку и осматривал выставку мануфактурных, кустарных и других изделий, в устройстве которой принимал участие Герцен. Ему же пришлось давать пояснения. «Поздравь меня, — писал он в тот же день Наталье Александровне, — князь был очень доволен выставкой, и вся свита наговорила мне тьму комплиментов, особенно знаменитый Жуковский, с которым я целый час говорил; завтра в 7 часов утра я еду к нему». О содержании их бесед ничего не известно, но не приходится сомневаться в том, что яркая, самобытная речь Герцена, его ум, широкая образованность, столь необычные в провинциальной глуши, произвели на Жуковского сильное впечатление. Он вызвался хлопотать об освобождении Герцена из ссылки.

Встречу с Жуковским в Вятке Герцен назвал одной из «решительнейших минут» своей жизни. Окрыленный надеждой на скорое возвращение, вскоре после отъезда Жуковского, Герцен приступил к работе над автобиографическим очерком «I Maestri». Произведение не сохранилось, но из писем Герцена известно, что это



Кабинет Жуковского. *Картина Г. К. Михайлова, А. Н. Мокрицкого и других учеников А. Г. Венецианова. 1836 г.*

были воспоминания о 1833, 1835 и 1837 годах, отмеченных встречами с поэтом Иваном Ивановичем Дмитриевым, архитектором Александром Лаврентьевичем Витбергом и Жуковским. Трех выдающихся современников Герцен назвал многозначным словом «maestri» — мастера, наставники, учителя.

Текст «I Maestri» был известен «учителям» Герцена. Он сам прочел очерк Витбергу и некоторым вятским друзьям. Витберг находил «слишком некстати и слишком желчными» те места, в которых содержалась сатирическая зарисовка личности вятского губернатора Тюфяева.

Копия очерка была послана Н. Х. Кетчеру, который передал его Екатерине Гавриловне Левашовой, хозяйке известного литературного салона в Москве. В свое время в ее доме бывали А. С. Пушкин, декабрист М. Ф. Орлов, П. Я. Чаадаев и многие другие предста-

вители передовой московской интеллигенции. На одном из вечеров статья была прочитана в присутствии Жуковского. Герцен узнал, что его произведение заинтересовало писателя. «Жуковский, прочитав „I Maestri“, сделал на тетради отметки, вот драгоценность — жаль, что я не видал», — писал Герцен Наталье Александровне, тогда еще своей невесте. Мнение Жуковского нам неизвестно, но вымарал он те же пять последних строк, против которых возражал и Витберг.

В Петербурге Герцен навестил Жуковского еще раз — 20 декабря. Об этих встречах сохранилось лишь несколько беглых упоминаний в его письмах.

Герцен рассказал Жуковскому о бедственном положении Витберга, получившего разрешение возвратиться в Москву или Петербург, но не имевшего средств на дорогу. Жуковский обещал содействие.

Во время второго визита вместе с Жуковским был окончательно решен вопрос о месте службы. 20 декабря Герцен писал жене: «Еду сейчас к Жуковскому, там решим, что делать еще, и куда определиться, и как, и пр. и пр.». А назавтра Герцен подал по установленной форме прошение об определении на службу в министерство внутренних дел.

Знакомство с Жуковским не прекратилось и после переезда Герцена в Петербург в 1840 году. К этому времени поэт отказался от обязанностей воспитателя наследника и оставил Зимний дворец. Когда Герцен подвергся новым гонениям властей (ему грозила ссылка в Вятку), Жуковский снова пришел на помощь. Пользуясь своим влиянием, поэт добился смягчения приговора.

Герцен виделся и с Константином Ивановичем Арсеньевым, известным историком, географом и статистиком. В 1828 году Арсеньеву было поручено

преподавать историю и статистику наследнику престола, будущему императору Александру II. Арсеньев занимал официальный пост члена совета министерства внутренних дел. Он обещал ускорить перевод Герцена в Петербург. «...Кажется по всему, недолго нам жить во Владимире...» — писал Герцен жене после встречи с Арсеньевым.

Среди рекомендательных писем, привезенных Герценом в Петербург, два были адресованы Ольге Александровне Жеребцовой: одно от владимирского губернатора И. Э. Куруты, другое — от отца.

Жеребцова была старинной приятельницей Ивана Алексеевича. Их дружба началась в Петербурге, в те незапамятные времена, когда Яковлев, молодой гвардейский офицер, танцевал с Жеребцовой на балах Екатерины II. С той поры их жизненные пути не раз сходились. «...Они встретились в Париже, вместе ездили туда и сюда, наконец оба приехали домой на отдых, лет тридцать тому назад», — писал Герцен в «Былом и думах». Яковлев безвыездно жил в Москве, Жеребцова — в Петербурге. Она изредка навещала Ивана Алексеевича, когда проездом бывала в древней столице.

Ольга Александровна Жеребцова, урожденная Зубова, появилась в Петербурге в 1789 году, когда ее брат, офицер-кавалергард Платон Зубов, стал фаворитом Екатерины II. Перед семьей Зубовых открылись пути к высшим государственным должностям и быстрому обогащению. Важные назначения получили отец Жеребцовой, ее братья и муж, мелкий провинциальный чиновник.

Ольга Александровна отличалась природным умом, живостью характера, твердой волей и необычайной красотой, обращавшей на себя внимание.



О. А. Жеребцова. *Миниатюра конца XVIII в.*

После вступления на престол Павла I Жеребцова становится одной из вдохновительниц направленного против него заговора. Ее дом на Английской набережной в Петербурге стал местом собраний заговорщиков. «...Она сделалась средоточием недовольных во время дикого и безумного царствования Павла, — писал Герцен. — У нее собирались заговорщики, она подстрекала их, через нее шли сношения с английским посольством».

Незадолго до убийства Павла I Жеребцова уехала за границу. Побывала в Германии, Франции, Англии. Судьба сводила ее с теми, кто стоял у власти. Она была знакома с графом д'Артуа, будущим французским королем Карлом X. В Англии с ней познакомился принц Уэльский — впоследствии английский король Георг IV. Связь с Георгом открыла Жеребцовой доступ в высшие круги английской аристократии. Но на всех, по словам Герцена, «она смотрела... независимо, посвоему и очень оригинально».

Незадолго до Отечественной войны 1812 года Жеребцова возвратилась в Россию. По своим связям и богатству она принадлежала к высшей петербургской

знати. Ее внучка, тоже Ольга Александровна, была замужем за графом А. Ф. Орловым, доверенным лицом Николая I и кавалером всех российских орденов.

Герцен хорошо изучил этот «кряж» людей, живых обломков «века минувшего». Жеребцова, как и братья Яковлевы, принадлежала к той же галерее «оригинально-уродливых существ», которыми была богата русская жизнь на грани двух веков. Они, эти люди, могли играть заметную роль в своем кругу; от их воли или просто каприза могли зависеть судьбы многих людей. Образованность и независимость ума нередко сочетались в них с укоренившимися крепостническими привычками и праздностью, оплаченной трудом сотен крепостных.

Предстоящий визит к важной и богатой петербургской барыне был для Герцена тяжкой обязанностью. Он приготовился к назойливым вопросам о здоровье батюшки, старческим жалобам (Жеребцовой было 73 года), нравственным поучениям много повидавшей на своем веку старухи. Несколько раз Герцен брал в руки и вновь откладывал письмо отца.

Но все опасения оказались напрасными. «...Был у Ольги Ал<ександровны> Жеребцовой, — писал Герцен жене, — и нашел столько приветливости и доброты, сколько не ждал». В письмах из Петербурга Герцен больше ничего не сообщил. Подробности своей первой встречи с Жеребцовой он восстановил много лет спустя в «Былом и думах». «Официант привел меня в довольно сумрачную гостиную, плохо убранную, как-то почерневшую, полинявшую; мебель, обивка — все сдало цвет, все стояло, видно, давно на этих местах... Минут через пять взошла твердым шагом высокая старуха, с строгим лицом, носившим следы большой

красоты; в ее осанке, поступи и жестах выражались упрямая воля, резкий характер и резкий ум. Она проницательно осмотрела меня с головы до ног, подошла к дивану, отодвинула одним движением руки стол и сказала мне:

— Садитесь сюда на кресла, поближе ко мне, я ведь короткая приятельница с вашим отцом и люблю его».

По просьбе хозяйки Герцен прочел написанное по-французски письмо отца — «с разными комплиментами, с воспоминаниями и намеками». Ольга Александровна внимательно слушала, улыбалась. Потом она, действительно, стала расспрашивать об Иване Алексеевиче. Но сколько душевного юмора было в ее вопросах! «Ум-то у него не стареет, все тот же; он очень был любезен и очень костúк[1]. А что, теперь все сидит в комнате, в халате, представляет больного? Я два года тому назад проезжала Москвой, была тогда у вашего батюшки; насилу, говорит, могу принять, разрушаюсь, а потом разговорился и забыл свои болезни. Все баловство...» Герцен не мог не оценить ее ума и наблюдательности.

Ольге Александровне было известно об аресте и ссылке Герцена. По просьбе Ивана Алексеевича она обратилась к тогдашнему министру внутренних дел Блудову, но ничего не смогла добиться. «За что это вас услали? — спросила она. — Они ведь не говорят, все у них secret d'Etat[2]». Полушутливо, полусерьезно Герцен рассказал свою историю, его удивило замечание хозяйки: «Четыре-пять студентов испугали, видите, tout le gouvernement[3] — срам какой». Она не скрывала

[1] От caustique — язвительный (*франц.*).

[2] Государственная тайна (*франц.*).

[3] Все правительство (*франц.*).

презрения к людям своего круга — этим старикам, «покрытым кавалериями», «куртизанам», состарившимся в интригах.

Оказалось, что Ольга Александровна знала о Герцене и то, что для многих оставалось тайной. Весной 1838 года, рискуя попасть в крепость или в Сибирь, Герцен тайно приезжал из ссылки в Москву, увез Наталью Александровну во Владимир и здесь обвенчался с ней. Иван Алексеевич рассердился на сына и лишил его материальной поддержки. Не без влияния Ольги Александровны он в конце концов сменил гнев на милость.

Узнав, что Герцен приехал в Петербург один и остановился в гостинице, она заметила: «На что же это по трактирам-то, дорого стоит, да и так нехорошо женатому человеку. Если не скучно вам со старухой обедать — приходите-ка; а я, право, очень рада, что познакомилась с вами; спасибо вашему отцу, что прислал вас ко мне: вы очень интересный молодой человек, хорошо понимаете вещи, даром что молоды. Вот мы с вами и потолкуем о том, о сем; а то, знаете, с этими куртизанами скучно — все одно: об дворе да кому орден дали — все пустое».

Окруженная царедворцами, замкнувшаяся в узком кругу светских интересов, Жеребцова не заметила той молодежи, которая развилась и выросла после Отечественной войны. Она, по выражению Герцена, «принимала произведения всего дворцового огорода за все наше поколение». И лишь на склоне лет она увидела и попыталась понять молодое поколение, одним из лучших представителей которого был Герцен.

Первая встреча с Жеребцовой положила начало их дружеским отношениям. Переехав в Петербург, Гер-

цен часто бывал у Ольги Александровны и обращался к ней всякий раз, когда требовалась помощь.

В одном из писем в Петербург Наталья Александровна просила Герцена подробно писать о своей жизни в столице и спрашивала, виделся ли он с Белинским. Герцен писал во Владимир ежедневно. Его письма к жене — своеобразный дневник десятидневного пребывания в столице. Но о встрече с Белинским Герцен сообщить не успел, — они виделись 22 или 23 декабря, перед самым отъездом Герцена.

Это был не визит к родственникам, не вынужденные поиски помощи и покровительства. Белинский был для Герцена одним из тех, в ком он хотел видеть идейного и политического единомышленника.

Приняв предложение сотрудничать в «Отечественных записках», Белинский в конце октября 1839 года переехал из Москвы в Петербург. Он остановился у писателя И. И. Панаева, жившего в доме Диммерта на Грязно́й улице (ныне улица Марата, участок дома 70б). По словам Панаева, «через час после приезда», он был уже в редакции «Отечественных записок».

Белинский в это время находился во власти ложной теории «примирения с действительностью». Из известной формулы Гегеля «все действительное разумно» критиком был сделан вывод о необходимости оправдания всей русской действительности и примирения с ней. «Белинский — самая деятельная, порывистая, диалектически-страстная натура бойца, — писал Герцен в «Былом и думах», — проповедовал тогда индийский покой созерцания и теоретическое изучение вместо борьбы».

Для Герцена же, недавнего ссыльного, необходимость борьбы против существующего порядка была очевидна. Не случайно поэтому их встречи в Москве

в августе—сентябре 1839 года сопровождались ожесточенными спорами. Однажды во время спора Герцен привел крайний довод: «— Знаете ли, что с вашей точки зрения, — сказал я ему, думая поразить его моим революционным ультиматумом, — вы можете доказать, что чудовищное самодержавие, под которым мы живем, разумно и должно существовать?

— Без всякого сомнения, — отвечал Белинский...»

Легко понять, какой взрыв протеста вызвали в Герцене эти слова. Полемика о «разумной действительности» расширялась. Дружеский круг распадался на два стана.

В октябре 1839 года Белинский уехал в Петербург. Но еще до этого в «Отечественных записках» появилась его статья «Бородинская годовщина», полемически направленная против Герцена и тех, кто отрицал «разумность» действительности. Произошел решительный разрыв.

В декабре 1839 года, как раз в те дни, когда Герцен находился в Петербурге, вышла очередная книжка «Отечественных записок» со статьей Белинского «Очерки Бородинского сражения». Это была уже вторая статья, в которой критик развивал тезис о необходимости «примирения с действительностью». Естественно, что после ее появления разногласия между Герценом и Белинским не только не сгладились, а, наоборот, даже обострились.

П. В. Анненков в своих воспоминаниях рассказывает о резком столкновении между Герценом и Белинским: «Когда через год после первого столкновения с Белинским Г<ерцен> явился в Петербург, он уже застал там Белинского и, разумеется, возобновил с ним распрю по поводу нового учения. И тогда-то, рассказывал Г<ерцен>, в жару спора со мной Белинский

прибег к аргументу, прозвучавшему необычайно дико в его устах. «Пора нам, братец,— сказал критик,— посмирить наш бедный заносчивый умишко и признаться, что он всегда окажется дрянью перед событиями, где действуют народы с своими руководителями и воплощенная в них история».

По сознанию Г<ерцена>, он пришел в ужас от этих слов, тотчас же замолчал и удалился. Ему показалось, что тут совершилось какое-то отречение от прав собственного разума, какое-то непонятное и чудовищное самоубийство».

По словам Анненкова, это столкновение произошло «через год» после московских встреч. Но правильнее было бы его отнести к декабрю 1839 года, когда в «Отечественных записках» появилась статья Белинского «Очерки Бородинского сражения», а в портфеле редакции уже находилась другая статья — «Менцель, критик Гете», представлявшая собой попытку приложить теорию «примирения» к вопросам литературы и искусства.

Где произошло столкновение, описанное Анненковым, сказать трудно. В первой половине декабря 1839 года Белинский покинул Панаева и переехал на другую квартиру. Скорее всего они встретились в редакции «Отечественных записок», которая помещалась тогда в доме Голландской церкви у Полицейского моста (ныне Невский проспект, 20).

Разрыв был тягостным для Герцена, тем более что при всех принципиальных разногласиях он не мог отказать Белинскому в смелости мысли, искренности убеждений. Герцен понимал, что примирение с действительностью и оправдание ее, обрекавшее на пассивность, бездействие, покорность, находились в непримиримом противоречии с боевой, страстной,

«гладиаторской натурой» Белинского. Критик видел царящий в России произвол, ненавидел дворян-помещиков. Признание действительности сочеталось у него с атеизмом, отрицанием религии. В этом был залог выхода из мучительного идейного кризиса. Герцен предвидел это. «Отказавшись от церкви, надобно было отказаться и от государства, и немного спустя он сделал это», — писал Герцен.

Примирение между Герценом и Белинским произошло во время новой встречи, семь месяцев спустя, в Петербурге.

ЭРМИТАЖ И ТЕАТРЫ



ли дни. С нетерпением Герцен ждал первого посещения Эрмитажа: «...Сердце... до сих пор не доступно истинной радости, — но это только до Эрмитажа, там надеюсь провести чудесный день...»

Герцен был там 19 декабря. «...Не жди ни описаний, ничего, — восклицал он в письме к Наталье Александровне. — Какой гигант должен быть тот, кто может сразу оценить, почувствовать, восхищаться *40 залами* картин. Тут надобно месяц времени... Когда я взошел в V или VI залу, я был неспособен вмещать ничего, душа была полна, и я смотрел *так*».

В то время в четырех «отделениях» Эрмитажа были собраны коллекции рукописей, книг, медалей, монет, гравюр, рисунков. Ценнейшая часть эрмитажного собрания — картинная галерея — размещалась в пятидесяти залах первого и второго этажей. Здесь находились полотна итальянских, испанских, французских, русских, немецких, голландских, английских, фламандских мастеров. 1692 картины представляли творчество 411 художников.

Подолгу Герцен стоял в залах итальянской живописи XVI—XVII веков.

Искусство Италии периода Высокого Возрождения с его гуманистическим пафосом и стремлением к реализму было особенно близко Герцену. Его эстетические взгляды формировались не без влияния художественных принципов мастеров этого времени. В их творчестве он находил обоснование права художника изображать жизнь во всем ее многообразии и полноте. Примечательна полемика с А. Л. Витбергом по поводу драматических сцен «Лициний», над которыми Герцен работал в 1838—1839 годах. Религиозно настроенный Витберг возражал против введения в это художественное произведение образа апостола Павла, считая, что это «неприлично». Он требовал уважения к «святости христианства».

Отвечая Витбергу, Герцен ссылается на Рафаэля и Буонарроти. «...Области искусства, — писал он, — принадлежит вся вселенная, вся история и все лица. Почему Рафаилова кисть не задрожала от мысли писать Мадонну, и еще больше — придавая ей черты Форнарины?[1] Почему резец Бонарроти не остановился, изображая Моисея?.. Перенесите ваш широкий взгляд на зодчество к поэзии, и вы увидите, что я прав».

В то время, когда писались эти строки, Герцен был знаком с картинами Рафаэля лишь по гравюрам и описаниям. Ему, безусловно, было известно вышедшее еще в 1805—1809 годах и широко распространенное двухтомное издание «Эрмитажная галерея, гравированная штрихами с лучших картин...». В издание вошли гравюры с картин Рубенса, Пуссена, Рембрандта,

[1] Форнарина (настоящее имя — Маргарита) — натурщица Рафаэля.

Леонардо, Ван-Дейка, Мурильо, Сальватора Розы и других мастеров. Первый том открывался гравюрой с картины Рафаэля «Святое семейство» («Мадонна с младенцем и безбородым Иосифом»). Из пояснительного текста — параллельно на французском и русском языках — читатель мог узнать, какие удивительные превращения претерпела картина. Созданная в 1505 году, она была затем испорчена каким-то художником, пытавшимся ее обновить. Под слоем краски исчезло творение великого мастера. Лишь после того как были сняты наслоения, картина предстала в своем первоначальном виде.

«Эрмитажная галерея...» послужила источником стихотворения Пушкина «Возрождение»:

Художник-варвар кистью сонной
Картину гения чернит.
И свой рисунок беззаконный
Над ней бессмысленно чертит.
Но краски чуждые, с летами,
Спадают ветхой чешуей;
Созданье гения пред нами
Выходит с прежней красотой...

Сейчас, в Эрмитаже, Герцен увидел этот шедевр. «Несколько картин Рафаэля — узнал ли бы я его без подписи? — писал Герцен жене. — Из всех я узнал бы одну (заметь, это моя узкость, а не художникова) — Мадонна и старик Иосиф. Чем дольше я всматривался в черты Мадонны, тем отраднее становилось в душе, слезы навертывались, какая кротость и бесконечность во взоре, какая любовь струится из него, вот так человеческое лицо есть оттиск божественного духа. И ребенок очень хорош, он как-то *задумчиво* улыбается Иосифу...»

Полотно отличается глубоким психологизмом. Застывшие в неподвижности фигуры охвачены общим

настроением сосредоточенности и грусти. Взгляд Мадонны, открытый, безмятежно-спокойный, устремлен вдаль. Справа от нее, опираясь на посох и чуть склонившись, стоит Иосиф. Он в глубокой задумчивости смотрит на младенца.

Герцена привели в восторг и всемирно известные лоджии Рафаэля, точная копия лоджий Ватиканского дворца. «...Такого украшения стен, с такою роскошью и избытком гения, льющегося через край, я и не мог вообразить себе», — писал Герцен.

Сильнейшее впечатление произвело также искусство фламандских и голландских мастеров. Это была самая крупная коллекция Эрмитажа, насчитывавшая в то время около 800 полотен. «Фламандская школа, — писал Герцен. — Страсть люблю эти сцены, вырванные из клокочущей около нас жизни, это другая сторона искусства. У итальянцев идеализация тела, здесь — жизни».

Осмотр окончен. Залы, галереи, картины. Условность, аллегоричность — и обнаженная правда жизни. В образах, сюжетах, сценах развертывались перед Герценом судьбы людей, народов, государств. Мирные пейзажи, от которых веяло тишиной и покоем, сменялись картинами кровопролитных баталий. Рядом с величайшим самопожертвованием и человеческим благородством — преступления против человечности; около сказочной роскоши — жалкие рубища. Земля и небо, боги и люди, цари и рабы, жизнь и смерть — все разнообразие и вся бесконечность жизни проходили перед взором Герцена. Искусство заставляло учащенно биться сердце, порождало гордость за человеческий гений.

...В декабре 1839 года, когда Герцен приехал в Петербург, театральный сезон был в полном разгаре.

На афишах — названия опер, драм, балетов, водевилей, комедий, извещения о предстоящих концертах и бенефисах. В Александринском театре — русская драматическая труппа, в Михайловском — французская, в Большом театре — балеты, русская и немецкая опера.

Репертуар был огромный. В сезоне 1839/40 года в одном лишь Александринском театре было поставлено 152 драмы и комедии и дано в общей сложности 245 представлений. Для любителей оперной классики — 38 опер на русском и немецком языках. Балетоманы вынуждены были довольствоваться девятью балетами, но зато в шести из них участвовала знаменитая Тальони, танцевавшая в течение сезона 55 раз. Во всех петербургских театрах перед началом спектаклей занавес поднимался 612 раз!

Герцен оказался в обстановке ажиотажа, охватившего петербургскую публику. Увидеть несравненную Марию Тальони, услышать m-me Allan, полюбоваться Каратыгиным, не пропустить предстоящего бенефиса, всюду поспеть — в этом, казалось, единственная цель жизни записных петербургских театралов.

Этот ажиотаж был глубоко чужд Герцену. Он признавал важную общественную роль театра, видел в нем «трибуну», «парламент литературы», а художника, артиста относил к тем, кто принадлежал к «передовой фаланге человечества». «Театр — высшая инстанция для решения жизненных вопросов», — писал Герцен.

Интерес Герцена к театру, к драматургии возник еще в детские годы. В доме отца была большая библиотека. Книги — в основном произведения французских писателей XVIII века — были свалены в беспорядке в нежилой комнате нижнего этажа. Мальчику разрешалось рыться в этих «литературных закромах».

И, едва научившись читать, он принялся за них. «Что же я читал? Само собой разумеется, романы и комедии. Я прочел томов пятьдесят французского „Репертуара“ и русского „Феатра...“» — писал Герцен в «Былом и думах».

«Репертуар французского театра» издавался в Париже в 1818—1829 годах. В каждом из 67 томов небольшого формата в красном переплете с золотым тиснением было по три-четыре пьесы. Издание включало произведения Корнеля, Расина, Вольтера, трагедии разных авторов, комедии в стихах и в прозе, драмы. Биографические очерки о Бомарше, Мольере, Лесаже, Лафонтене, предисловия и комментарии, написанные Расином, Вольтером, письма Буало — все это давало Герцену богатый материал по истории французского классицизма.

Чтение «Российского феатра» (издание выходило в 1786—1794 годах в 43 частях) обогатило знанием отечественной драматургии.

Герцен обладал способностью глубоко вживаться в события изображаемой эпохи, проникать в духовный мир любимых героев. Грани между действительностью и художественным вымыслом постепенно стирались, образы обретали плоть и кровь, и читатель сам становился действующим лицом драматического произведения. Так случалось всегда, когда пьеса захватывала.

Герцен «любил без ума» комедию Бомарше «Свадьба Фигаро» и перечитывал ее в русском переводе «раз двадцать». Особую симпатию вызывал образ благородного, честного Керубино, готового отдать жизнь за свою любовь. «Я был влюблен в Херубима и в графиню, — признавался Герцен, — и, сверх того, я сам был Херубим; у меня замирало сердце при чтении...»

Еще более сильное влияние на Герцена и Огарева оказали герои трагедий Шиллера. Под знаком его творчества прошли их юношеские годы. Карл Моор, маркиз Поза, Вильгельм Телль, Пикколомини, Валленштейн, Фиеско для юного Герцена были не только литературными героями, но и живыми людьми, которые вызывали любовь или ненависть, восхищение или презрение, учили ненависти к деспотизму, воспитывали гражданское мужество. «Мой идеал был Карл Моор, — писал Герцен, — но я вскоре изменил ему и перешел в маркиза Позу. На сто ладов придумывал я, как буду говорить с Николаем, как он потом отправит меня в рудники, казнит. Странная вещь, что почти все наши грезы оканчивались Сибирью или казнью и почти никогда — торжеством».

Рассказывая о любимых писателях отрочества, Герцен заметил, что для понимания Шиллера достаточна юношеская «симпатия к высокому», в то время как Гете и Шекспир могут быть поняты лишь тогда, когда раскроются способности человека, когда он познакомится с жизнью, испытает «грозные опыты» и переживет хотя бы долю тех страданий, которые вынесли Фауст, Гамлет, Отелло. Ко времени ссылки «грозные опыты», пережитые Герценом, позволили ему глубоко осмыслить произведения Шекспира. Он неоднократно перечитывал трагедию «Гамлет», и каждый раз чтение Шекспира, как и чтение других великих писателей, позволяло измерить «свое возрастание, улучшение, падение, направление».

«Гамлет» и был первой пьесой, которую Герцен смотрел в Петербурге на сцене Александринского театра.

...Высокое желто-белое здание, обращенное фасадом на просторную площадь, поражало своей тор-

жественностью. Весь его внешний облик красноречиво говорил о его назначении. Коринфская колоннада, образующая высокую лоджию, поднята на высокий цоколь, прорезанный проемами дверей. В глубине лоджии, между колоннами, — узкие полукруглые окна; по краям в сводчатых нишах — статуи музы танца Терпсихоры и музы трагедии Мельпомены. Фриз покрыт рельефом из театральных масок и гирлянд. Колонны поддерживают аттик с изображением лиры и летящих гениев с лавровыми венками. Слегка скошенный к краям аттик увенчан колесницей Аполлона с четверкой несущихся коней.

Это Александринский театр, построенный К. И. Росси в 1827—1832 годах (ныне Академический театр драмы имени А. С. Пушкина). Внешний вид здания сохранился до наших дней таким, каким его видел Герцен более 130 лет назад. Только по бокам главного фасада позже были заделаны открытые проезды, в которые въезжали кареты прямо к дверям театра, и сняты гипсовые скульптуры, находившиеся по краям фасада.

Оформление интерьера отличалось таким же изяществом. Плафоны зрительного зала украшали изображения Олимпа и Парнаса. Позже, уже в 1860-х годах, эта роспись, выполненная живописцем А. Виги, была заменена арабесками с именами русских писателей. К столетнему юбилею театра, в 1932 году, плафон был восстановлен по эскизам А. Виги. Одна над другой шестью ярусами поднимаются золоченые ложи, как бы окаймляя овал зрительного зала. Кресла партера и места за креслами, поднимающиеся полукруглым амфитеатром, в то время были обиты тканью голубого цвета.

Александринский театр был открыт 31 августа 1832 года и стал самым посещаемым театром столицы.

Здесь бывала разношерстная публика. Бо́льшая часть зрителей являлась пешком или в дрожках. «Высшая знать» приезжала в каретах. Ее появление в театре — верный признак того, что в царской ложе находится императорская фамилия или ставится нашумевшая пьеса. Вообще же аристократия предпочитала ездить во французский театр или в оперу.

Любопытные сведения о посещении императорских театров сообщает «Полицейский телеграф» — так называлась газетная рубрика, появившаяся в 1840 году в «Прибавлениях к „Ведомостям С. П. Бургской городской полиции“».

«Полицейский телеграф» — одно из проявлений того «припадка статистики», по выражению Герцена, в котором в 1830-е годы находилось министерство внутренних дел. Читатели могли отыскать в этой рубрике все, что угодно: сведения о количестве скота на городском скотопригонном дворе и число «дам и кавалеров» присутствовавших на последнем маскараде в зале Благородного собрания; список выздоровевших и умерших в петербургских больницах и сообщение о балаганах во время масленичных гуляний; данные о грузах, доставленных в Петербург морским путем, о пассажирах, ежемесячно проезжающих по железной дороге, и статистику взятых «под стражу за неприличные поступки и пьянство».

Особым вниманием «Полицейского телеграфа» пользовались петербургские театры. Вот как выглядела эта рубрика за один день 1840 года:

«В театрах посетителей было.

10-го января. — В Большом театре («Тень», балет). — Посетителей 735, карет 126, прочих экипажей 17.

— В Михайловском театре («Der Landwirth», komödie[1]; «Die falsche Taglioni», vaudeville[2]. Посетителей 420, карет 12, прочих экипажей 11.

— В Александринском театре (бенефис г. Каратыгина 1-го «Моцарт и Сальери»; «Алхимик», драмы; «Похищенный драгун», водевиль. — Посетителей 1350, карет 36, прочих экипажей 19».

В 1830-е годы на сцене Александринского театра господствовали казенно-патриотические и псевдоисторические драмы Н. В. Кукольника, Н. А. Полевого, П. Г. Ободовского, чувствительные мелодрамы. Ставились иногда остроумные, а чаще пустые и бессодержательные водевили. Репертуар театра разнообразили бенефисы, преследовавшие двойную цель — вознаграждение актеров и привлечение зрителя. Для бенефисов выбирались новые пьесы, но часто написанные наспех, плохо разученные.

Состояние драматического репертуара не могло не вызвать тревоги тех, кто ратовал за создание русского национального театра, кто мечтал видеть на сцене не переделанные французские или немецкие водевили, а пьесы, отражающие современную жизнь России.

«...Уже лет пять, как мелодрамы и водевили завладели театрами всего света. Какое обезьянство! ...Клянусь, XIX век будет стыдиться за эти пять лет...» — восклицал Гоголь.

Герцен также не был удовлетворен русским драматическим репертуаром. Но засилье мелодрам и водевилей он объяснял не модой, не «обезьянством», а историческими и социальными причинами. В статье «По поводу одной драмы» Герцен писал, что театр — зер-

---

[1] «Сельский хозяин», комедия *(нем.)*.

[2] «Лже-Тальони», водевиль *(нем.)*.

кало общества, отражение уровня его развития, его интересов. «...По сцене можно судить о партере, по партеру о сцене». И еще: «Сцена всегда современна зрителю, она всегда отражает ту сторону жизни, которую хочет видеть партер». Партером Герцен называл всю русскую публику, необычайно пеструю по своему составу, образованию, интересам. В одном ряду театральных кресел, отмечает Герцен, встречаются «полюсы человечества», а между ними можно отыскать представителей «главных моментов» человеческой истории — «от *небритой* бороды патриархальной» до «отращенной бороды, сознательной бороды». Поэтому-то потребности партера, с одной стороны, просты и непритязательны, с другой — их нелегко удовлетворить. «Разом для всей публики у нас пьес не дается, разве за исключением «Горя от ума» и «Ревизора», — писал Герцен. — Для бельэтажа — без *слов,* но с танцами и богатой постановкой; для райка — пьесы, в которых кто-нибудь кого-нибудь бьет; для статских чиновников — пьесы с пушечной пальбой, превращениями, нравственными сентенциями; для купцов — тоже с превращениями, но и с цыганскими плясками; *другие* (офицеры) всё смотрят, но особенно же любят водевили с двусмысленными куплетами и танцы с двусмысленными движениями».

Герцен был в Александринском театре 18 декабря 1839 года. В этот день театральная афиша извещала публику о том, что на сцене театра «российскими придворными актерами» будет представлена драма Шекспира «Гамлет» в переводе в стихах и прозе Н. А. Полевого. Роль Гамлета исполнял Каратыгин, в роли Офелии выступала Асенкова. В спектакле участвовали также Брянский, Сосницкий, Толченов 2-й, Леонидов и другие актеры труппы.

НА АЛЕКСАНДРЫНСКОМЪ ТЕАТРѢ.

Въ Понедѣльникъ, 18 Декабря,

Россійскими Придворными актерами представлено будетъ:

ГАМЛЕТЪ,

ПРИНЦЪ ДАТСКІЙ.

Драматическое представленіе въ пяти дѣйствіяхъ, соч. *Вилліама Шекспира*, переводъ съ Англійскаго, въ стихахъ и прозѣ, *Н. А. Полеваго*; три пѣсни Офеліи—музыка соч. А. Е. Варламова; машины Іосифа Роллера.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Клавдій, Король Датскій . . *Г-нъ Брянской.*
Гертруда, его супруга . . *Г-жа Брянская*
Гамлетъ, сынъ ея отъ перваго брака съ братомъ Клавдія . . *Г-нъ Каратыгинъ 1.*
Полоній, знатный чиновникъ при дворѣ *Г-нъ Сосницкій.*
Лаэртъ, сынъ его . . *Г-нъ Толченовъ 2.*
Офелія, дочь его . . *Г-жа Асенкова.*
Горацiо, другъ Гамлета . . *Г-нъ Леонидовъ.*
Вольтимандъ } придворные . . *Г-нъ Васильевъ.*
Корнелій } придворные . . *Г-нъ Серіо.*
Розенкранцъ } придворные . *Г-нъ Петровъ 2.*
Гильденштернъ } придворные . . *Г-нъ Михайловъ.*
Осрикъ } придворные . . *Г-нъ Радинъ.*
Морцелло } офицеры Королевской гвардіи . *Г-нъ Сосновскій.*
Бернардо } офицеры Королевской гвардіи . *Г-нъ Горшинковъ.*
Францеско } офицеры Королевской гвардіи . *Г-нъ Чайской.*
Рейнольдо, служитель Полонія . *Г-нъ Сосновской*
Тѣнь отца Гамлета . . *Г-нъ Ахалинъ.*
1. } могильщики . . . *Г-нъ Афанасьевъ.*
2. } могильщики . . . *Г-нъ Фалѣевъ.*
1. } актеры . . . *Г-нъ Калининъ.*
2. } актеры . . . *Г-нъ Іевлевъ.*
Актриса . . . *Г-жа Бормотова.*

Придворные кавалеры, придворныя дамы, пажи, послы, офицеры, солдаты, могильщики и народъ.

НАЧАЛО ВЪ 7 ЧАСОВЪ.

Афиша представления трагедии «Гамлет» в Александринском театре 18 декабря 1839 г.

Спектакль потряс Герцена. Сценическое воплощение пьесы позволило ему глубже проникнуть в замысел Шекспира. Об огромном впечатлении от спектакля Герцен писал Наталье Александровне в тот же вечер: «Велик, необъятен Шекспир! Я сейчас возвратился с «Гамлета», и, поверишь ли, не токмо слезы лились из глаз моих; но я рыдал. Нет, не читать, это надобно видеть (voir c'est avoir [1]) для того, чтобы усвоить себе. Сцена с Офелией и потом та, когда Гамлет хохочет, после того как король убежал с представления, были превосходно сыграны Каратыгиным; и безумная Офелия была хороша. Что это за сила гения так уловить жизнь во всей необъятности ее от Гамлета до могильщика! А сам Гамлет страшный и великий. Прав Гете: Шекспир творит, как бог, тут ни дополнять, ни возражать нечего, его создание есть потому, что есть, его создание имеет непреложную реальность и истинность... Я воротился домой весь взволнованный... Теперь вижу темную ночь и бледный Гамлет показывает на конце шпаги череп и говорит: «Тут были губы, а теперь ха-ха!..» Ты сделаешься больна после этой пьесы».

Чем объясняется необычайно сильное впечатление от произведения, которое Герцен до этого перечитывал неоднократно и считал «типом» всех творений Шекспира? Игрой Каратыгина? Безусловно. Спектакль позволил Герцену по-новому оценить его игру. В давнем, возникшем еще в 20-е годы споре между приверженцами Каратыгина и Мочалова — двух выдающихся актеров своего времени, — пальму первенства Герцен отдавал второму. Теперь он высоко оценил дарование

---

[1] Видеть — это иметь *(франц.)*.



В. А. Каратыгин в роли Гамлета. *Портрет работы В. Гау.*

Каратыгина. Но, разумеется, не только игрой актера вызван восторг Герцена.

Трагедию Шекспира Герцен считал величайшим, всеобъемлющим произведением, которое, по его словам, «в себе заключает самую мрачную сторону бытия человека и целую эпоху человечества». В письме к Наталье Александровне от 17 апреля 1837 года Герцен изложил свое понимание Шекспира и образную систему «Гамлета»: «Человечество живет в разные эпохи по двум разным направлениям: или оно имеет верование, и тогда все искусства запечатлены религиозностью, надеждой на лучший мир, или оно низлагает верование, и тогда что за удел поэта — небо у него отнято веком; люди, ломающие веру, обыкновенно гнусны; в собственной душе находит он пустоту, и ему остается два чувства: проклятие и отчаяние. В такую-то эпоху жил Шекспир; внимательно пересмотрел он сердце современников и нашел порок и низость, и вот поэт с негодованием бросил людям их приговор; каждая трагедия его есть штемпель, которым клеймят разбойника; в Шекспире нет ничего утешающего; глубокое презрение к людям

одушевило его, и даже сострадания нет в нем; он прямо указывает на смердящиеся раны человека и еще улыбается. «Гамлета» можно принять за тип всех его сочинений...»

Вдумаемся в эту страстную и гневную речь против пороков и низости. Не слышится ли в ней глубокое недовольство самого Герцена окружающей действительностью? Не видел ли он сам низости и пороков, заклейменных Шекспиром, в современной ему самодержавной России? Душевная пустота, отчаяние и проклятие! Не были ли близки эти чувства Герцену, задыхавшемуся в атмосфере николаевской России? А слова о разрушении верований не отражают ли собственные переживания Герцена в ту мрачную эпоху?

Обличительный пафос, присущий трагедии Шекспира, усиливался характером перевода. Переводчик не заботился о точности, о дословной передаче оригинала. Многие эпизоды были изменены, кое-что дописано. В общей сложности текст трагедии был сокращен почти на четверть. Критика нашла в переводе Полевого множество недостатков и вольностей — сокращение речей, «разрушение веры в привидения», пропуски, слияние разных явлений и даже изменения в сюжете. Все это действительно было присуще переводу. Но было и другое — стремление приблизить произведение к современности, усилить ее социальное звучание, сделать понятной и близкой русскому читателю 1830-х годов. Это стремление вытекало из взглядов Полевого на Шекспира как на «пророка», смотревшего на триста лет вперед.

При переводе был переосмыслен и образ Гамлета. Полевой придал ему черты раздраженной, рефлекси-

рующей личности, задыхавшейся в атмосфере Дании, страны-тюрьмы. Русский читатель и зритель того времени увидел прямую связь между родиной-тюрьмой Гамлета и николаевской самодержавной Россией. «Гамлет» Александринского театра надолго остался в памяти Герцена.

На другой день, 19 декабря, Герцен был в Михайловском театре. Ставилась комедия «Frascati, ou Le Secret d'état («Фраскати, или Государственная тайна») и водевиль «Le Gamin de Paris» («Парижский мальчишка»).

В отличие от Александринского, где в обычные дни зал заполняла пестрая публика, в Михайловском театре трудно было встретить купеческую бороду или заношенный чиновничий мундир. В партере и ложах — высшая знать, дипломатический корпус, богатые путешественники-иностранцы. «Французский театр, — писал в 1839 году «Сын отечества», — есть спектакль высших классов общества, здесь все изящно, — самый Михайловский театр, игра актеров, публика, дамы, всегда одетые как на бал: с любой из них можно срисовать модную картинку...»

В составе французской труппы было немало талантливых актеров — Брессан, Бурбье, Аллан, Верне и другие. Их выступления в бенефисах в 1839/40 году заслужили высокую оценку критики. Летописец петербургской сцены А. Вольф свидетельствует, что водевиль «Le Gamin de Paris», который смотрел Герцен, «произвел фурор благодаря Брессану». Белинский в своих театральных рецензиях с сочувствием упоминает Аллан и Бурбье, называет «истинным художником» Верне.

Однако мастерство актеров не искупало бедности репертуара. Главное место в нем занимали водевили

второстепенных французских драматургов. 17 драм и комедий и 53 водевиля — таков репертуар Михайловского театра в сезоне 1839/40 года.

Правда, было возобновлено несколько серьезных спектаклей прошлого сезона — «Смешные жеманницы» и «Тартюф» Мольера, «Свадьба Фигаро» Бомарше и некоторые другие. Но не они определяли репертуар французской труппы. К тому же комедию «Свадьба Фигаро» зрителям удалось услышать лишь однажды.

Второго представления не последовало, так как французский текст был запрещен цензурой, а заодно — и сам спектакль на русском языке, шедший в Александринском театре с 1829 года.

Спектакль французской труппы не произвел особого впечатления на Герцена. В письме к Наталье Александровне о посещении Михайловского театра он ограничился одной фразой: «Французская труппа прекрасная, но выбор пьес плох».

В этом же письме Герцен писал: «Тальони я еще не видал, билет достать довольно трудно».

Действительно, перед каждым представлением с участием Тальони кассу Большого театра осаждала разношерстная публика: барин в цилиндре, сиделец из лавки, посланный за билетом, горничная, извозчик с номером, уличные мальчишки... Всем хотелось посмотреть на это чудо — Тальони.

В июне 1822 года юная Мария Тальони, дочь известного балетмейстера Филиппо Тальони, дебютировала на сцене Венского театра. С огромным успехом молодая танцовщица выступала затем в Германии и Италии. В 1827 году ей восторженно рукоплескал Париж. После гастролей в Англии Тальони стали называть «царицей танцев».

В 1837 году прославленная балерина приехала в Россию. В конце августа в Петербурге появилась афиша: «Г-жа Талиони прибыла в С.-Петербург 23 августа. Дебюты ее воспоследуют в непродолжительном времени; билеты на оные можно получать ежедневно в кассе Большого театра». Далее сообщались цены билетов на дебюты. Они были небывало высокие: ложи бельэтажа стоили 100 рублей ассигнациями, бенуар и первый ярус — 75 рублей, второй ярус — 50 рублей, третий ярус — 25 рублей и т. д.

Дебют состоялся 6 сентября. Публика была покорена необыкновенным искусством артистки. Современница вспоминает: «В эту осень дебютировала на Большом театре Тальони в балете «Сильфида». Я была на первом ее представлении. Она довела танцы и мимику до высшей степени искусства. В ее движениях было столько благородства и грации, в ее позах столько изящества, что она представлялась великою художницей. Она была столько же пластична в балете, сколько Рашель в драме».

Тальони стала знаменитостью Петербурга. В «Северной пчеле» печатались восторженные отзывы о ее спектаклях. Портреты артистки раскупались нарасхват. В кондитерской Вольфа и Беранже продавали «пирог Тальони». Скульпторы и художники запечатлели ее образ в искусстве. Гипсовая статуэтка артистки была установлена в комнате при императорской ложе в Большом театре.

В честь Тальони поэты слагали стихи. П. А. Вяземский посвятил ей стихотворение:

Прости, волшебница! Сильфидой мимолетной
Она за облака взвилась... счастливый путь!
Но проза здесь на зло поэзии бесплотной:
Скажите, для чего крыло в башмак обуть?

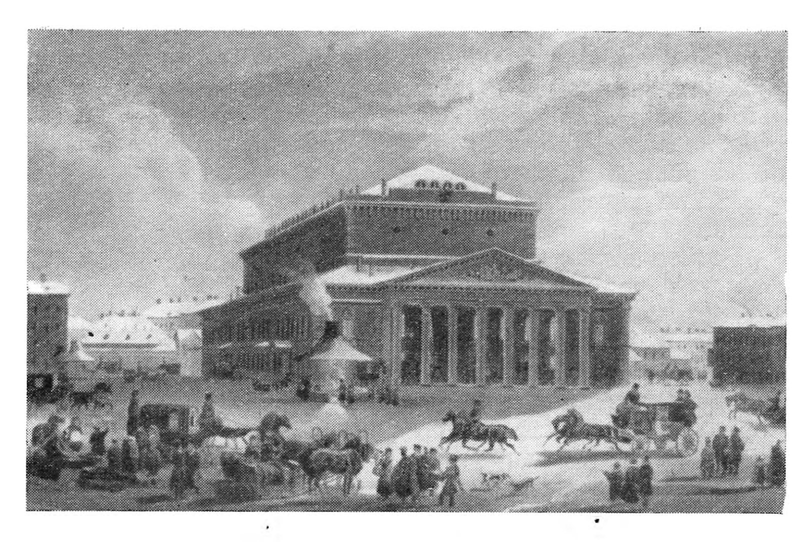
В 1837—1842 годах афиши Большого театра пестрели названиями балетов с участием Тальони: «Дева Дуная», «Миранда», «Гитана», «Тень», «Креолка», «Морской разбойник», «Озеро волшебниц». Большинство из них было создано ее отцом и соответствовало особенностям таланта балерины. Это были хореографические картины в духе романтизма 1820—1830-х годов.

Герцен видел Тальони в балете «Гитана» на сцене Большого театра.

Широкое четырехугольное здание в строгом классическом стиле уже издали привлекало к себе внимание. Главный фасад, обращенный на пустынную Театральную площадь, был украшен восьмиколонным портиком с высоким фронтоном. Верхний этаж глубоким уступом уходил внутрь. Построенный в 1777—1783 годах, театр неоднократно перестраивался. Незадолго до приезда Герцена в Петербург, в 1835—1836 годах, стены здания были подняты на сажень, улучшена акустика, перепланирован зрительный зал. После перестройки, которую осуществлял архитектор А. К. Кавос, зрительный зал вмещал около 2 тысяч человек. В 1891 году Большой театр был разобран, и на его месте было построено здание для консерватории.

Подъезжая к театру, Герцен был поражен открывшейся перед ним живописной картиной. По обеим сторонам здания длинными вереницами выстраивались кареты. Кучера грелись у разложенных тут же огней. Можно было подумать, что в этот вечер к зданию театра съехалось пол-Петербурга.

Говоря о необыкновенной любви петербуржцев к театру, «Северная пчела» как-то писала: «У нас театр есть единственное место под крышей, где люди



Большой театр. *Литография с картины Т. Дица. Середина XIX в.*

всех сословий могут видеть друг друга без докладов и поисков. Здесь лакей может сидеть в присутствии своего барина, заимодавец может дотиснуться до своего должника, мелкий чиновник может видеть улыбку на устах своего начальника, проситель приблизиться к своему судье, искатель к покровителю и проч.».

Эта идиллическая картина всеобщего равенства вовсе не соответствовала действительности. В театре, как и в жизни, отношения между людьми определялись «табелью о рангах». В этом можно было убедиться, окинув взглядом зрительный зал. Казалось, незримые перегородки отделяли первые ряды партера от

НА БОЛЬШОМЪ ТЕАТРѢ.

Въ Среду, 20 Декабря,

30-е представленіе, въ которомъ будетъ участвовать Г-жа ТАЛЬОНИ.

ГИТАНА

(ИСПАНСКАЯ ЦЫГАНКА)

РОЛЬ ГИТАНЫ БУДЕТЪ ИГРАТЬ Г-ЖА ТАЛЬОНИ.

Афиша представления балета «Гитана» в Большом театре 20 декабря 1839 г.

остальных, бельэтаж — от мест за креслами.

Картину сословно-классовой иерархии петербургской публики конца 1830-х годов воссоздает анонимный автор «физиологическо - философическо - типического» очерка «Большой театр», напечатанного в журнале «Репертуар и Пантеон». По его словам, в первых рядах Большого театра обычно сидели «важные физиономии». Здесь бывало много пустых кресел, — места приобретались лицами из «высшего круга». Затем, от 4-го до 13-го ряда, шла «густая компактная масса лиц разных родов, племен, наречий», в которой преобладали чиновники. Эта часть публики держалась подчеркнуто скромно, не позволяла себе громко судить о достоинствах спектакля и актерах, смиренно держала между коленками шляпу и читала «афишку». Последние ряды партера



Мария Тальони в роли Гитаны. *Рисунок П. Басина.*

занимали обычно актеры. Ложи тоже имели постоянных посетителей. В бенуаре находили приют приехавшие из провинции. Во втором ярусе восседали чиновники и купцы. В третьем ярусе — служащие разных ведомств. В галерее четвертого яруса «франтили лакеи высшего тона и горничные лучшего круга». Вся эта пестрая публика с напряженным вниманием следила за развертывающимся действием.

Сюжет «Гитаны» — судьба девочки, похищенной цыганами, — романтическая история, не раз варьировавшаяся в литературе и в театре. Но банальность либретто искупалась искусством Тальони. Зрители видели танец, одухотворенный мыслью, чувством. Средствами хореографии артистка умела передавать тончайшие душевные переживания.

Публика неистово аплодировала артистке. До выступлений Тальони балеринам аплодировали только мужчины, для женщин это считалось неприличным. «Теперь, — писала «Северная пчела», — и дамы хлопают очаровательной танцовщице с неутомимым усердием. Талант берет верх над условным приличием».

21 декабря Герцен писал во Владимир: «Вчера видел я Talioni, la grande, l'immense Talioni [1]. Тальони просто перышко, грациозное, милое, совершенно воздушное перышко райской птички. Как она танцевала Bollero; что за избыток грации и изящества...»

Впечатление от игры Тальони было настолько сильным, что Герцен не раз возвращался к размышлениям об ее искусстве. В одном из вариантов фельетона «Москва и Петербург» он признавался, что, покидая столицу, жалел лишь об одной Тальони. Позже, в статье «Публичные чтения г. Грановского (письмо

---

[1] Тальони, великую, несравненную Тальони *(франц.)*.

второе)», Герцен сопоставил две, казалось бы, несопоставимые вещи: лекции Грановского и... танцы Тальони. «Вторая лекция читана увлекательно, — писал Герцен, — г. Грановский несколько раз воодушевлялся и речь его отзывалась глубоко в душе. Вы можете смеяться, как вам угодно, но глаза мои были влажны. Эта мощь предоставляется одному таланту и истинному одушевлению. Я не стыжусь слез, которые не один раз навертывались у меня на глазах, когда Талиони бывала на сцене и увлекала меня своей грацией, музыкальной изящностью своих поз и чистотою своих движений».

Современники сравнивали танцы Тальони с музыкой Паганини и искусством Рафаэля. Герцен сравнил мысль ученого и искусство балерины. В этом сопоставлении — глубокий смысл: истинный талант всегда трогает людские сердца.

На другой день Герцен снова был в Большом театре. В этот вечер сцена была предоставлена оперной труппе. Девяносто четвертый раз ставился «Роберт-Дьявол» Мейербера. Партию Роберта исполнял Леонов, Бертрама — Петров, Алиссы — Степанова.

Проходы между рядами были свободны, ложи не блистали, как накануне, разнаряженной публикой, и даже позолота люстр со вчерашнего вечера, казалось, потускнела.

В сезоне 1839/40 года петербургская опера посещалась хуже, чем балет, несмотря на обширный репертуар: четыре новых и двенадцать оперных спектаклей прошлых сезонов.

После восстания 14 декабря с театральных афиш исчезли названия героических, тираноборческих опер. Цензура, зорко следившая за оперным репертуаром, решительно изгоняла дух свободолюбия и борьбы.

НА БОЛЬШОМЪ ТЕАТРѢ.

Въ Четвергъ, 21 Декабря,

Россійскими Придворными актерами представлено будетъ:

РОБЕРТЪ.

(94-е представленіе.)

Большая опера въ пяти дѣйствіяхъ, музыка Мейербера; текстъ Скриба и Делавиня (переводъ съ Французскаго); танцы соч. балетмейстера Г. Титюса; декораціи 1-го дѣйствія — Г. Лекса; 2-го — Кокки; 3-го — Андрея Роллера; 4 и 5-го — Г. Сабата; костюмы Г. Вельте; машины устроены машинистомъ Іосифомъ Роллеромъ.

Танцовать будутъ во 2-мъ дѣйствіи: Г. Никитинъ (восп-къ) Г-жи Андреянова 2, Смирнова, Иванова 1, и (восп-ца) Аполлонская — pas de cinq.

Въ 3-мъ дѣйствіи: Г-жа Круазеттъ — solo; Г-жи Иванова 1, Андреянова 1, Пименова и (восп-ца) Аполлонская.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Король Сициліи		Г-нъ Живинъ.
Робертъ, Герцогъ Нормандскій		Г-нъ Леоновъ.
Бертрамъ, другъ его		Г-нъ Петровъ.
Изабелла, Принцесса Сицилійская		Г-жа Соловьева.
Рембо, поселянинъ изъ Нормандіи		Г-нъ Лихонскій.
Алиса, поселянка изъ Нормандіи		Г-жа Степанова.
Герольдъ		Г-нъ Макаровъ.
Албертини, церемоніймейстеръ Принца Гренадскаго		Г-нъ Ефремовъ.
Елена		Г-жа Круазеттъ.
Ліонель	Рыцари	Г-нъ Тереховъ.
Рембольди		Г-нъ Кудиновъ.
Оливье Турвиль		Г-нъ Кузуевъ.
Бернонъ		Г-нъ Дубровинъ 2.
Сенонетти		Г-нъ Шуваловъ.
Артуръ Терье		Г-нъ Сосновской 2.
Люблемонъ		Г-нъ Далоко.
Эгельвиль		Г-нъ Добрецовъ.
Джіованни Колонно		Г-нъ Гейнъ.
Лонвиль		Г-нъ Громовъ.
Шампанель		Г-нъ Волковъ.
Субреголди		Г-нъ Григорьевъ.
Сталетини		Г-нъ Иваницкой.
Рамбоно		Г-нъ Алексѣевъ.
Сюрильe		Г-нъ Калогенно.
Терминоръ		Г-нъ Ивановъ.
Герольдъ		Г-нъ Бакунинъ.
Отшельникъ		Г-нъ Байковъ.

Вельможи, оффиціалнии, крестьяне, воины Короля Сицилійскаго, пажи, конюшіе, народъ и демоны.

Начало въ 7 часовъ.

Афиша представления оперы Мейербера «Роберт-Дьявол» в Большом театре 21 декабря 1839 г.

Так, опера Россини «Вильгельм Телль», проникнутая тираноборческими настроениями, была поставлена после существенных переделок либретто и под названием «Karl der Kühne»[1]. «Я еще этой глупости не знал, — и смешно, и досадно, и отвратительно», — записал Герцен в дневнике 10 ноября 1842 года.

Оперу «Роберт-Дьявол» зрители увидели также в препарированном виде. Цензура запретила изображение на сцене храма и сатаны, а Николай I, присутствуя на репетиции, «не дозволил» ставить на сцене крест. Даже слово «дьявол» было снято с русских афиш.

Герцен слушал «Роберта-Дьявола» дважды — в декабре 1839 года и в июне 1840-го. Оба спектакля произвели сильное впечатление. В письмах, дневнике, публицистических статьях Герцен не раз упоминал об опере Мейербера, цитировал отдельные, особенно запомнившиеся ему строки.

Свой взгляд на современный театр Герцен высказал позднее в статье «По поводу одной драмы». Она была написана под непосредственным впечатлением от драмы О. Арну и Н. Фурнье «Преступление, или Восемь лет старше», которую Герцен смотрел в сентябре 1842 года в Московском Большом театре. Однако в статье, безусловно, отразились и впечатления Герцена от театров столицы.

Герцен прожил в столице не три недели, как собирался, а десять дней. Он уезжал обогащенный незабываемыми впечатлениями. «Петербург будет для меня великой поэмой», — писал Герцен, приехав в столицу.

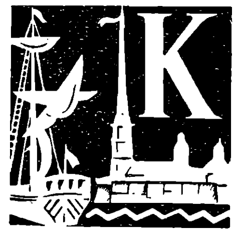
---

[1] Карл Смелый *(нем.)*.

Большой город он сравнивал с большой поэмой, в которую нужно вчитаться, чтобы постичь ее смысл. Сенатская площадь, где «раздался первый крик русского освобождения», восторг от созерцания Зимнего дворца, встречи и знакомства, посещение театров и Эрмитажа — это и были главы «великой поэмы».

Утром 24 декабря Герцен выехал из Петербурга, через три дня был в Москве, а новый, 1840 год встречал во Владимире вместе с женой и сыном.

«ПЕТЕРБУРГ ИМЕЕТ ДВЕ СТОРОНЫ...»



Канцелярская машина двигалась медленно... Полтора месяца Герцен не получал известий из Петербурга и уже готовился ко второму «путешествию» в столицу. Но о нем не забывали. Константин Иванович Арсеньев, верный своему обещанию, дважды просил в министерстве ускорить перевод. Об этом Герцен узнал в начале февраля 1840 года из письма С. Л. Левицкого, сообщившего о благополучном исходе дела.

Официальные бумаги пришли позже. 22 марта 1840 года министр внутренних дел граф Строганов направил владимирскому губернатору предписание: «По представлению вашего превосходительства от 13 минувшего февраля за № 1641 о неимении со стороны вашей препятствия к перемещению на службу в С.-Петербург титулярного советника Герцена, я причислил его 29 того же месяца в ведомство министерства внутренних дел. Сообщая о сем вашему превосходительству для объявления г. Герцену, я прошу вас, м. г., приказать ему явиться в С.-Петербург к новой его службе».

Так Герцен стал чиновником министерства внутренних дел.

Через несколько дней Герцен, Наталья Александровна и десятимесячный Саша навсегда оставили Владимир и прибыли в Москву.

Но отъезд в Петербург со дня на день откладывался, — невыразимо грустно было оставлять родных, друзей. «Москва не заменится в моей душе Петерб<ургом>, и не по одним воспоминаниям, — писал Герцен жене в декабре 1839 года. — Петербург, холодный, угрюмый, полурусский, покрытый туманом, совсем не то, что наша Москва, звонящая тысячью колоколами, народная».

Была и другая, более важная причина — предстоящая служба не вызывала энтузиазма. В письмах к друзьям Герцен говорит о переезде в Петербург как о досадной, но неизбежной необходимости. И ни слова о планах и надеждах.

Он отправлялся служить по настоянию отца с намерением сбросить чиновничий мундир при первой возможности. Ему удалось избежать иллюзий многих современников.

Юный Гоголь, отправляясь в Петербург, «пламенел» желанием посвятить себя борьбе с лихоимством и злоупотреблениями. Служба представлялась ему вернейшим средством искоренения зла.

Двадцатипятилетний И. С. Тургенев поступил в министерство внутренних дел, надеясь, что ему удастся облегчить положение крестьян.

У Герцена иллюзий не было. Ссылка обнажила перед ним всю глубину беззаконий, творившихся в России, показала тщетность индивидуальных усилий и убедила в необходимости искать иные, действенные средства борьбы...

...Отъезд в Петербург был назначен на 10 мая. Накануне исполнялась вторая годовщина свадьбы Герцена и Натальи Александровны. Незабываемо прошел этот день. Утром отправились в Симонов монастырь, расположенный на левом, возвышенном берегу Москвы-реки, в шести верстах от Кремля. Поднялись на колокольню. Отсюда открывалась панорама Москвы, раскинувшейся на десятки верст. Долго стояли молча, всматриваясь в очертания родного города. Вечером простились с друзьями.

На другой день Герцен, Наталья Александровна, няня с Сашей на руках уже дожидались отправления дилижанса.

Более ста тридцати лет назад путешествие из Москвы в Петербург, да еще с семьей, было утомительным и хлопотливым. Первая забота — получить в полиции свидетельство, что «к выезду нет препятствий». Только после этого в конторе дилижансов можно было купить билет. Пассажирам вручался большой лист светло-голубого цвета, во всю его ширину было напечатано: «Билет первоначального заведения дилижансов». Ниже, уже от руки, указывалось время отправления, маршрут, стоимость поездки и ставилась подпись выдавшего билет.

Вторую половину листа занимали «Правила» — параллельно на русском и немецком языках. Во избежание неприятностей с ними следовало познакомиться. Пассажиры предупреждались, во-первых, что в дилижансе нельзя перевозить письма, деньги, посылки — «в подрыв почте, под опасением ответственности». Во-вторых, что дилижанс отправляется в назначенный час, «не ждет неявившихся и в домы за ними не заезжает». Дочитав «Правила» до конца, обладатель билета


ПЕРВОНАЧАЛЬНАГО ЗАВЕДЕНИЯ ДИЛИЖАНСОВЪ

Билетъ

на место за № 3

Отправление въ 9 часовъ утра

Августа 13 дня 1842 года

Управляющий Конторою

ПРАВИЛА.

1820го ГОДА

Билет на дилижанс.

убеждался, что накануне отъезда ему предстояло еще доставить в контору паспорт.

«Устав первоначального в России заведения дилижансов» предусматривал, что в карете могут ехать «люди всякого звания, возраста и пола», что в пути пассажиры не несут «дилижансовых расходов», но каждый волен «подарить что-нибудь надзирателю дилижанса, ежели он сие заслуживает».

...Наконец все формальности выполнены, вещи уложены, все уселись по своим местам, и громоздкая карета трогалась. Скорость в весеннюю распутицу и осеннее бездорожье не превышала 8—10 верст в час, зимой — по санному пути — несколько больше. Дилижанс двигался днем и ночью с пятнадцатиминутными остановками на станциях для перемены лошадей и получасовыми — для завтрака, обеда и ужина пассажиров.

Одна за другой потянулись перед Герценом станции петербургского тракта — Черная Грязь, Пешки, Клин, Завидово, Городня, Тверь... — бесконечно длинная и скучная дорога. Но все обошлось благополучно, — Саша «всю дорогу делал ладушки».

О первых днях жизни в столице сообщает в своих письмах Наталья Александровна. «Теперь живем пока в трактире, пить, есть и жить — очень дурно и дорого. Часто я остаюсь в своей маленькой комнатке одна», — сообщала она 22 мая Т. А. Астраковой.

«Трактир», в котором остановились Герцены, — это гостиница Демута на Мойке близ Полицейского моста (ныне Народный мост), известная в 1820—1830-х годах под названием «Демутов трактир». Здесь можно было снять и полутемную комнатку, и просторные номера, обставленные дорогой мебелью. У Демута останавливались приезжавшие в столицу коммерсанты, ино-

странцы-путешественники, заезжие артисты. В разные годы здесь жили Пушкин, Грибоедов, Чаадаев, Пестель, редактор журнала «Телескоп» Надеждин. Гостем Пушкина, жившего у Демута в 1828 году, был великий польский поэт Адам Мицкевич. 30 апреля на вечере у Пушкина Мицкевич вдохновенно импровизировал в присутствии Вяземского, Крылова, Жуковского и других гостей.

В «Демутовом трактире» Герцены прожили неделю и 20 мая перебрались к сестре Натальи Александровны — Анне Александровне. Она была замужем за Петром Ивановичем Орловым, мелким петербургским чиновником.

Формулярный список Орлова не украшен монаршими «благоволениями» и наградами. Вольноотпущенный крепостной, он начал службу в 1815 году простым копиистом во втором департаменте Сената. В 1830 году Орлов получил место экзекутора в Опекунском совете петербургского Воспитательного дома — благотворительного заведения для незаконнорожденных детей и сирот. Он прослужил здесь до выхода в отставку в 1847 году в чине надворного советника с пенсионом 560 рублей в год.

Орловы жили в казенной квартире, принадлежавшей Воспитательному дому. В «Книге адресов С.-Петербурга за 1837 год» указан адрес П. И. Орлова: «В Опекунском совете, по Б<ольшой> Мещанской, № 4, 2 ч<асти> 2 кв<артала>». Современный адрес может быть установлен лишь предположительно: улица Плеханова, дом № 3. В то время это был небольшой двухэтажный флигель, построенный в 1809—1810 годах А. Н. Воронихиным. Здесь размещались квартиры чиновников и канцелярия правления. В 1840 году архитектор П. С. Плавов надстроил в доме третий этаж,

придав ему сходство с соседним домом, принадлежавшим причту Казанского собора (ныне угол Невского проспекта и улицы Плеханова).

Герцены прожили у родственников около трех недель и одновременно были заняты поисками квартиры. Это оказалось делом не простым. «...В продолжение двух недель ежедневно искали квартиру, — сообщала Наталья Александровна 11 июня 1840 года, — такая дороговизна, приступа нет, наконец нашли в 2500 — переехали, начинаются хлопоты о мебели, бедный Александр каждый день возвращался домой измученный, весь Петербург вытвердил наизусть, все, до последнего стула, до последней чашки надо было купить, и теперь еще кроме внутренних комнат все пусто; тяжкое время. Но, несмотря на это, хорош Петербург, хороша его Нева!»

В июльских письмах Герцен мог уже сообщить друзьям свой постоянный адрес: «В доме Лерха, на углу Б. Морской и Гороховой, в бельэтаже № 21» (ныне улица Герцена, 25). Он поселился здесь вместе с С. Л. Левицким.

Дом был построен в той части Петербурга, где в начале XVIII века находилась Морская слободка, населенная матросами, мастеровыми, приписанными к Адмиралтейству. В 1737 году слободка была уничтожена пожаром, а на этом месте проложили две улицы — Большую Морскую и Малую Морскую.

Большая Морская была одной из самых благоустроенных улиц столицы. Здесь стояли большие четырехэтажные дома крупнейших петербургских домовладельцев, с магазинами, лавками, винными погребами. В 1832 году изобретатель В. Гурьев предложил для борьбы с шумом мостить улицы деревянными торцами. Первым был вымощен Невский проспект. Опыт



Вид на реку Мойку и Большую Морскую улицу от Поцелуева моста. *Литография по рисунку И. Шарлеманя. 1830—1840-е гг.*

оказался удачным. По словам Гурьева, «все дома на Невском проспекте избавились от беспрестанного дрожания, которое повреждало их прочность. Жители успокоились от стуку, лошади ощутили новые силы и, не разбивая ног, возят теперь рысью большие тяжести. Экипажи сохраняются, а здоровье людей, особливо нежного пола, получило новый быт от приятной езды...» Вслед за Невским торцовыми шестигранниками покрылась вся Большая Морская улица. Гурьев находил, что торцовая настилка здесь намного лучше, чем на Невском, «а местами, против некоторых домов, и превосходно исполнена, — например в Большой Морской против дома Таля, Тулубьева, Жадимеровского».

Названные здесь дома стояли по соседству с домом Лерхе.

В XVIII веке этот дом принадлежал графам Соллогубам, затем М. М. Кусовникову. В середине 1830-х годов владельцем дома стал статский советник Лерхе. К этому времени в доме было два этажа с небольшим двухэтажным флигелем. 3 марта 1838 года было получено разрешение на перестройку всей усадьбы по проекту архитектора Жако. На обоих фасадах — на Гороховую и Большую Морскую улицу — были надстроены по два жилых этажа. Внутри двора выросли два каменных флигеля: слева — шестиэтажный, справа — пятиэтажный.

Это был один из доходных домов, которых в Петербурге становилось все больше и больше. В 1840 году об этом писала «Художественная газета» в заметке «Спекулативные дома в Петербурге»: «В недавнее еще время дом в четыре этажа был в Петербурге — маяком, по которому можно было узнать, в какой части города находишься; теперь видим целые улицы в четыре этажа». По мнению автора заметки, такие дома «обнаруживают спекулативный дух, жадность к деньгам. Форма — недостаток вкуса и изобретательности». Автор предлагал, так сказать, типовой проект петербургского дома: «...два этажа флигеля, два двора, сад, отдаленные службы — вот естественные условия довольства и удобства городской жизни». Но ни сетования, ни рекомендации автора заметки (им был Нестор Кукольник), разумеется, не помогли, — количество доходных домов росло.

В письмах к друзьям Герцен нарисовал яркую картину большого столичного дома: «Дом, в котором мы живем, — от души петербургский дом: во-первых, шестиэтажный, во-вторых, в нем нет секунды, когда бы



Бывш. дом Лерхе. Улица Герцена, 25. *Фотография 1970 г.*

не пилили бы, не звонили бы в колокольчик, не играли бы на гитаре и пр. Жильцов малым чем меньше, нежели в Ноевом ковчеге, да и состав похож, т. е. несколько человек и потом от каждого рода птиц, рыб, животных пара».

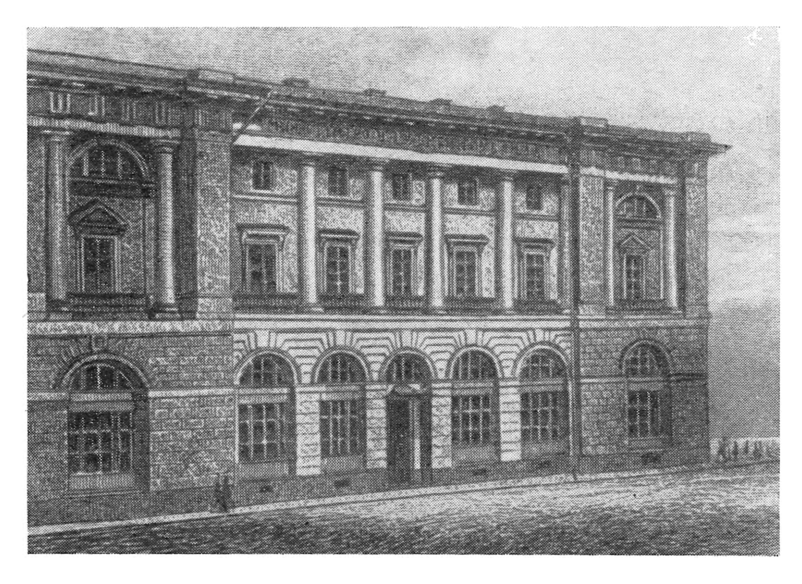
В письме к Д. П. Голохвастову от 3 июля 1840 года Герцен писал о доме на Большой Морской: «...тут есть лавки, магазейны, директоры министерств, m-me Allan, офицеры, винные погреба, шесть этажей и несколько сот окон; тут по подряду на весь дом ставят воду, топят печи, вставляют рамы, натирают полы. Все это совершенно противуположно московскому широкому комфорту...»

Дом сохранился до наших дней. На его фасаде, обращенном на улицу, носящую имя Герцена, установлена мемориальная доска с надписью: «В этом доме в квартире № 21 в 1840—1841 гг. жил Александр Иванович Герцен».

Через несколько дней после приезда в Петербург Герцен явился на службу. Министерство внутренних дел находилось на Фонтанке у Чернышева моста (ныне мост Ломоносова). Трехэтажное здание с колоннадой дорического ордера, поднятой над первым этажом, было построено в 1830-х годах по проекту К. И. Росси и при участии И. Шарлеманя. Вместе с продолжением зданий Театральной улицы (западный корпус ее занимало министерство народного просвещения) оно образовало Чернышеву площадь (ныне площадь Ломоносова).

Внешний вид здания сохранился без изменений. Сейчас в нем помещается типография имени Володарского (Фонта́нка, 57).

Герцена принял министр. Граф Александр Григорьевич Строганов производил благоприятное впечатление. Это был нестарый человек (ему было 44 года), обходительный, учтивый. Граф незадолго до этого вступил в должность министра («высочайший» указ о его назначении был дан Сенату 10 марта 1839 года), но не чувствовал себя новичком в государственных делах. За его плечами — большая административно-чиновничья карьера. Строганов занимал ряд важных государственных должностей, был членом различных комиссий и комитетов, участником военных кампаний, был в Париже в 1815 году, брал Варшаву в 1831 году. После подавления восстания в Польше Строганов назначается членом временного правления Царства Польского. Последняя его должность перед назначением на



Здание министерства внутренних дел. *Гравюра.*

пост министра — черниговский, полтавский и харьковский губернатор.

Чиновничья карьера Строганова отмечена множеством орденов, наград, «высочайших благоволений». К 1840 году граф обладал значительным состоянием. Кроме родового имения в 11 тысяч душ, соляных варниц и железных заводов, которые он должен был наследовать от родителей, ему досталось приданое жены — более 3 тысяч душ крепостных и 24 тысячи десятин земли.

О своем вступлении в должность Строганов известил министров, канцлера императорских и царских

орденов, генерал-губернаторов, гражданских губернаторов, губернских предводителей дворянства. В ответ хлынули поздравления с выражением верноподданнических чувств; они были удивительно однообразны: «Почтеннейшее извещение Ваше...», «Вследствие почтеннейшего отношения Вашего...», «С особенным удовольствием я имел честь получить...». Дальше этого фантазия не шла. Это был чиновничий ритуал, условная бюрократическая вежливость. Но порой преследовались и корыстные цели. Смоленский гражданский губернатор князь Трубецкой, отвечая Строганову, выражал надежду «на благосклонное снисхождение» министра, если бы «обнаружились какие-либо упущения».

Строганов недолго управлял министерством — уже в сентябре 1841 года он вышел в отставку.

При Строганове была несколько упрощена структура министерства. Все остальное оставалось по-прежнему — крестьян секли, чиновники брали взятки, голод и болезни уносили жизни тысяч крепостных, недоимки регулярно взимались.

Герцену предстояло служить в канцелярии министра.

Директор канцелярии Карл Карлович фон Поль, по словам Герцена, «принадлежал к тому типу немцев, которые имеют в себе что-то лемуровское, долговязое, нерасторопное, тянущееся».

Прослушав один год «курс наук» в Московском университете, фон Поль в 1813 году поступил на службу в министерство внутренних дел. В августе 1826 года он был назначен цензором Главного цензурного комитета, но через год проштрафился, пропустив по недосмотру неугодное властям сочинение религиозного содержания. По «высочайшему повелению» фон Поль был отстранен от должности. Однако это не помешало

его дальнейшей карьере. Формалист и педант, робевший перед начальством, фон Поль оказался удобной фигурой. Он был членом различных комиссий и комитетов, занимавшихся делами иностранных вероисповеданий. В апреле 1837 года фон Поля назначили директором канцелярии министра внутренних дел. В 40-х годах он был уже директором департамента общих дел.

Судьба привела под его начало двух выдающихся людей. В 1840—1841 годах в его канцелярии служил Герцен; позже, в 1843—1845 годах, фон Поль был начальником И. С. Тургенева. Флегматичный и благочестивый (он принадлежал к одной из религиозных сект) фон Поль, казалось, не замечал своих подчиненных. Впрочем, к Герцену он благоволил.

Чем-то давно знакомым пахнуло на Герцена, едва он переступил порог канцелярии и увидел затянутые во фраки фигуры чиновников. На лицах — невозмутимое равнодушие и сознание собственной роли; в движениях — чинность и достоинство. Здесь не брали двугривенные за справку, как в канцелярии вятского губернатора, не являлись пьяными на службу. Но было что-то общее между чиновниками канцелярии министра и их вятскими собратьями. Эту общность Герцен определил с присущей ему иронией: «Канцелярия министра внутренних дел относилась к канцелярии вятского губернатора, как сапоги вычищенные относятся к невычищенным; та же кожа, те же подошвы, но одни в грязи, а другие под лаком».

Под респектабельной внешностью министерских чиновников угадывалась «дрянная, черная, мелкая, завистливая и трусливая душонка». В канцелярии министра, кроме директора с годовым окладом в 12 тысяч рублей, находились три начальника отделений, десять столоначальников, десять старших помощников, десять

младших помощников, три журналиста (чиновники для ведения журналов), восемь канцелярских чиновников высшего оклада, десять чиновников среднего оклада, восемь — низшего, бухгалтер и контролер, секретарь при директоре, пятнадцать чиновников по особым поручениям и прочие — всего девяносто пять человек.

Ни в письмах, ни в «Былом и думах» Герцен не назвал ни одной фамилии, не оставил ни одного портрета своих новых «коллег», — настолько безликой казалась ему вся эта чиновничья масса.

Каждый раз, входя в министерство, Герцен делал над собой усилие и каждый раз наблюдал одну и ту же картину канцелярской суеты: «Начальники отделений озабоченно бегали с портфелями, были недовольны столоначальниками, столоначальники писали, писали, действительно были завалены работой и имели перспективу умереть за теми же столами — по крайней мере просидеть без особенно счастливых обстоятельств лет двадцать. В регистратуре был чиновник, тридцать третий год записывавший исходящие бумаги и печатавший пакеты».

Как не вспомнить здесь гоголевского Акакия Акакиевича Башмачкина!

Вся эта масса людей вела переписку с другими министерствами, посылала запросы, циркуляры, отношения и решала другие бумажные дела.

Поэзией этого мира были бесчисленные отчеты. С 1 января 1837 года были введены новые правила, регламентировавшие все — систему проверки, выдачу квитанций, порядок взысканий за упущения по отчетности и прочие бюрократические тонкости. Одни бланки и формы отчетов, собранные вместе, составляли увесистый том большого формата в несколько сот страниц.

Среди моря бумаг, стекавшихся в министерство со всех концов империи, были отчеты губернаторов. Они содержали подробные статистические данные об урожае и происшествиях, об экономическом положении губернии и количестве краж, о состоянии «народного здравия» и ценах на муку, о возмущениях крестьян против помещиков и членовредительстве — факты, таблицы, цифры, зачастую не имевшие ничего общего с подлинным положением вещей...

Герцен, заведовавший статистическим комитетом в Вятке, хорошо знал, как составлялись таблицы. «...Я упомяну сведения, присланные из заштатного города Кая, — вспоминал он в «Былом и думах». — Там между разными нелепостями было: „*Утопших — 2, причины утопления неизвестны — 2*“ и в графе сумм выставлено „*четыре*“».

На основании подобных данных, где правда переплеталась с вымыслом и нелепостью, в канцелярии министра составлялся общий годовой отчет министерства, который призван был дать достоверную картину положения в стране.

Составление годового отчета было делом тонким, — от него зависела репутация министра, получение наград и «высочайших благоволений». Каждый вступавший в должность министр стремился доказать постоянный прогресс во всех областях по сравнению с управлением предшественника. При этом фальсификации и подлог были обычным явлением. Все делалось просто. «Предусмотрительность начальства, — писал Герцен, — нашла нужным вперед объяснить некоторые будущие выводы, не оставляя их на произвол цифр и фактов. Так, например, в слегка набросанном плане отчета было сказано: «Из рассматривания числа и характера преступлений (ни число, ни характер еще не были

известны) в.в. изволите усмотреть успехи народной нравственности и усиленное действие начальства с целью оную улучшить».

Герцен не преувеличивал. В архиве министерства внутренних дел сохранился любопытный документ: «Проект годового отчета за 1839 год». На двухстах страницах сконструирован макет будущего отчета по всем разделам: «Охранение веры», «Сохранение народного здравия», «Народная нравственность», «Народное спокойствие и тишина» и тому подобное. Никаких цифр в проекте нет (они заменены нулями), названия губерний, городов, уездов обозначены условно, но выводы уже сделаны. Так, в разделе «Сохранение народного здравия» было написано буквально следующее: «В генваре месяце в N и N губерниях показалась болезнь N. В ней не замечено прилипчивой заразительности, но дознано, что она произошла от таких-то причин. При самом появлении оной в N губернии, в N уезде приняты были такие-то меры. Болезнь сия, переходя в уезды и N губернию, постигла 000 душ обоего пола. Из них выздоровело — 000, умерло — 000 душ».

Но даже самые радужные картины народного благополучия, нарисованные в «Проекте», не могли удовлетворить его взыскательных авторов. Текст отчета, который представлялся царю, изменялся, «редактировался», шлифовался. Никого не смущало, что истина при этом исчезала бесследно.

Вот две редакции одного и того же текста. В «Проекте отчета за 1839 год» в разделе «Сохранение народного здравия» пространно и не без гражданской скорби говорилось о детской смертности от оспы: «Привито коровьей оспы 000 детям. Из коих умерло 00, а прочие выздоровели. Несмотря на столь очевидные доказа-



Обложка проекта годового отчета министерства внутренних дел за 1839 г.

тельства, что прививание оспы сберегает жизнь множества детей, предохраняет их от безобразия и калечества и предупреждает болезненную слабость; несмотря на все усилия начальства укоренить в уме простого народа явную пользу и необходимость сего спасительного средства, оно не ввелось еще в общую потребность. Причины сего кроются в необразованности черного народа и в трудности отучить его от вредных предрассудков. А потому с сожалением должно сознаться, что в жертву невежества ежегодно умирает от оспы значительное число детей».

Но зачем огорчать чувствительное сердце монарха! И в «отредактированном» тексте он с удовлетворением мог прочесть нечто совершенно противоположное: «Прививание предохранительной оспы год от года идет успешнее. Предрассудки простого народа против сего спасительного средства постепенно искореняются».

«Проект отчета» подсказывал и окончательный вывод, к которому следовало прийти независимо от цифр

и фактов: «Общее спокойствие приметным образом нигде не было нарушено... И таким образом, по приведении в надлежащий порядок неприметных в целом составе беспокойств, все части империи наслаждались тишиною».

В окончательном тексте отчета место нулей заняли цифры и даты, вместо неопределенных номеров проставлены названия и имена. Но это ровным счетом ничего не меняло. Предписанный начальством вывод о «тишине», которой «наслаждалась» Россия в 1839 году, повторен в отчете буквально.

Извлечение из отчета было напечатано «по высочайшему повелению» отдельной книгой с золотым обрезом, в зеленом сафьяновом переплете с тиснением.

Подобным образом составлялись отчеты и за последующие годы.

В «Былом и думах» Герцен рассказывает, что ему было поручено составление общего годового отчета по министерству на основе губернских. Поручение было не из приятных. Однако случай избавил его от участия в министерской фальсификации. В начале декабря 1840 года Герцен был вызван в III отделение и получил приказ покинуть Петербург. «Судьба и граф Бенкендорф спасли меня от участия в подложном отчете...» — писал Герцен.

Хотя в составлении отчета Герцен не участвовал, ему, безусловно, были известны материалы, на основе которых он составлялся: донесения о крестьянских возмущениях, о непрекращавшемся брожении в западных губерниях, особенно в Польше; о многочисленных случаях злоупотреблений помещичьей властью и убийствах помещиков крепостными. Из отчета за 1839 год следовало, что волнения крестьян происходили в одном казенном и десяти помещичьих имениях. Авторы от-

чета вынуждены были признать, что в большинстве случаев причиной возмущения было «обременение работой» (так на канцелярском языке называлась барщина), «недостаток продовольствия» (голод), «жестокое обращение» (порка, истязания крестьян).

В отчете за 1840 год сообщалось, что крестьянские волнения происходили уже в 20 имениях, при этом было убито 12 помещиков и один управляющий. Крестьяне помещика Головина в Новгородской губернии «высекли своего владельца батожьями». Причины возмущения крестьян были те же: «жестокое обращение», «блудная связь с женами и дочерьми крестьян», «ненависть». По данным отчета, к 1840 году более 150 имений находилось в опеке за жестокое обращение помещиков с крестьянами. Подобные сведения составляли государственную тайну, тщательно скрывались и в печатное «Извлечение», разумеется, не вошли.

Служба в канцелярии министра позволила Герцену познакомиться и с некоторыми другими документами, в том числе с материалами о злоупотреблениях властью своего бывшего начальника — вятского губернатора К. Я. Тюфяева.

Еще в Перми, перед отъездом в Вятку, Герцен познакомился с Василием Степановичем Чеботаревым, умным, образованным, несколько чудаковатым доктором. От него Герцен услышал рассказ о диком произволе Тюфяева, велевшего запереть в сумасшедший дом одного из неугодных ему чиновников. Чеботарев, как врач, отказался подтвердить сумасшествие, дело получило огласку. Стали известны и другие преступления Тюфяева. В «Былом и думах» Герцен заметил, что истинность рассказа врача он «имел случай после поверить по документам в канцелярии министра внутренних дел».

Вятский губернатор, по-видимому, имел в Петербурге влиятельных покровителей. В министерстве была составлена справка, в которой большинство выдвинутых против Тюфяева обвинений признавалось ложными. Дело о злоупотреблениях Тюфяева — увесистый том большого формата в 307 листов — сохранилось в фондах Центрального государственного исторического архива в Ленинграде.

В июне 1840 года, когда Герцен служил в Петербурге, в министерстве было решено выдать Тюфяеву аттестат о службе. Это был отголосок событий, свидетелем которых Герцен стал еще в Вятке в 1837 году. Во время посещения Вятки наследником престола Тюфяев получил от тогдашнего министра внутренних дел Блудова строгий выговор «за неблагоразумные и ни с чем не сообразные распоряжения». Вскоре по приказу Николая I Тюфяев был уволен в отставку.

Через два года бывший губернатор подал прошение о выдаче ему аттестата. Потребовались сведения о Тюфяеве из различных департаментов. Ответ был стереотипный: в делах «нет никаких случаев, кои могли бы служить в похвалу или нарекание». Затем была составлена докладная записка, в которой давалась общая оценка службы Тюфяева. Документ явно был составлен рукой щедро вознагражденного благожелателя. Автор записки рекомендовал не вносить в аттестат многочисленные «упущения» Тюфяева по службе на том основании, что они не имели «никаких вредных для казны последствий». Даже строгий выговор по «высочайшему повелению» и обстоятельства его увольнения предлагалось обойти молчанием. Строганов согласился с доводами, и Тюфяев получил «чистый аттестат» и право носить в отставке мундир («Он оградит меня от злословия, что я уволен дур-

но»,— писал Тюфяев Строганову). По представлению министра бывшему губернатору была назначена пенсия второго разряда — 3 тысячи рублей в год. Так был обелен царский сатрап.

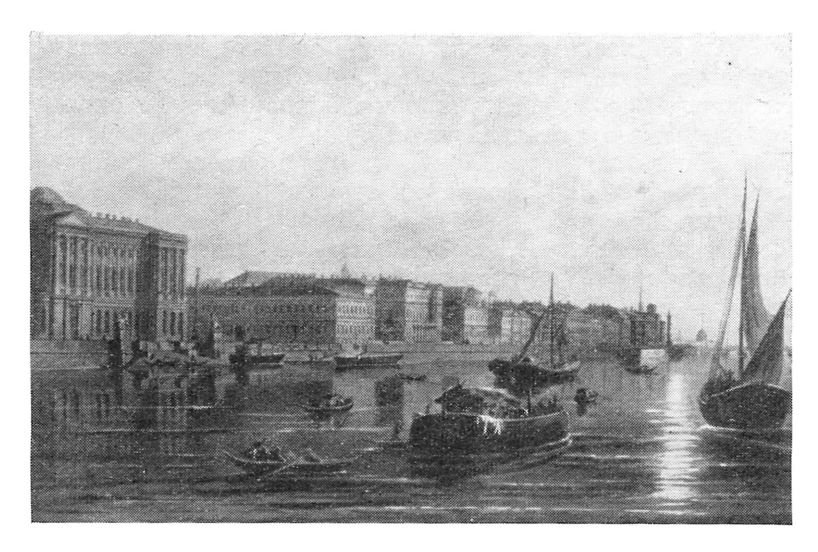
Зловещий образ Тюфяева неоднократно появляется на страницах «Былого и дум». Герцен изобразил его таким, каким видел и помнил. Однако отдельные подробности биографии и службы вятского губернатора могли стать известными Герцену только из официальных документов. Вместе взятые, они рисуют отвратительный облик стяжателя, прикидывающегося бескорыстным; деспота, упоенного властью и уверенного в своей безнаказанности; безнравственного, развращенного человека.

Служба не обременяла. Герцен признавался, что канцелярия «не слишком на горле сидит, дает-таки вздохнуть и почитать...». Свободное время отдавалось семье, знакомству со столицей, литературной работе.

Весна 1840 года в Петербурге не отличалась от всех предыдущих — ветер, тучи, пасмурное небо. Лишь изредка проглянет солнце. Капризы погоды — предмет постоянных иронических замечаний Герцена. «Мне здесь в особенности нравится погода, подчас забудешься и мечтаешь, что уж октябрь, и то где-нибудь две версты от полюса...» Эти строки написаны в разгар весны, 22 мая, когда в Петербурге начинается пора белых ночей. Ничего не изменилось и через месяц, в конце июня: «...здесь ожидают всё еще лета, должно быть, оно отложено до 1841 года по случаю неурожая». В начале июля снова: «...худо то, что до 1-го июля здесь дождливая весна, а с 1-го июля дождливая осень».

Герцен не знал, что касается запретной темы — в императорской резиденции запрещалось бранить даже погоду. Когда Булгарин позволил себе особенно непочтительно отозваться в «Северной пчеле» о столичном климате, он был вызван в III отделение и получил нагоняй от Дубельта: «Ты, ты у меня! Вольнодумствовать вздумал? О чем ты там нахрюкал? Климат царской резиденции бранишь. Смотри!» Так обошлись с Булгариным, частенько прибегавшим в III отделение с очередным доносом на русских писателей. А что случилось бы с Герценом, если бы власти вздумали вскрывать его письма из Петербурга? Намеки на неурожай, недовольство климатом, непозволительные замечания о редком петербургском солнце, таком «оторопелом», «как будто бы его ведут в частный дом», то есть в полицейский участок. Не миновать бы новой ссылки...

В редкие солнечные дни Петербург преображался. Шире становились улицы и проспекты, зелень обретала свой естественный цвет, даже Нева казалась не такой суровой в своем «державном теченье». Петербуржцы спешили наверстать упущенное, насладиться теплом и солнцем, вдохнуть аромат зелени. На Острова, к Неве, к солнцу! В такие дни, поддавшись общему настроению, Герцен и Наталья Александровна ездили в Кронштадт, были в Петергофе, катались на лодке. В теплые вечера бродили по городу, любовались красотой белых ночей. «Петербург засыпает, — писала в одном из писем Наталья Александровна, — движенье, суета уменьшаются, стук колес редеет, тише, тише... — пустеют улицы, бульвар пуст, огни исчезают... Давно закатилось солнце, а небо ясно, светло, Нева спокойна, тиха, вот несколько лодок дремлют у пристани, и хозяин их дремлет, часы бьют... первый час ночи. Мы с Александром



Университетская набережная. *Литография И. Шарлеманя. 1830-е гг.*

вдвоем давно уж бродим по берегу Невы, останавливаемся, смотрим на нее и не наглядимся, как хороша она в своей гранитной раме, а вон там лес мачт, там вон сфинксы, маяки... на нашей стороне Зимний дворец, ты не можешь себе представить всю красоту, всю прелесть этого здания, полусвет придает ему какую-то таинственность, кажется, это обиталище духов, движущиеся огоньки телеграфа передают мысль в несколько мгновений за тысячу верст — все это вместе кажется волшебством и наполняет душу каким-то страхом. Нагулявшись, набродившись, мы садимся в лодку и плывем так, без цели...»

Вскоре после приезда Герцен и Наталья Александровна побывали в домике Петра I. Невысокое деревянное строение с незатейливыми украшениями скорее напоминало крестьянскую избу, чем царские чертоги. Две светелки, разделенные узким проходом, обставлены необычайно просто: на стенах, обтянутых выбеленным холстом, развешаны плотничьи инструменты; двери и стены расписаны букетами цветов; простое кресло и скамейка, токарный станок. «...Мы были в домике Петра Первого. Боже мой, сколько дум и дум является на этом месте», — писала Наталья Александровна во Владимир.

От скромного дома Петра I началось, по словам первого историка Петербурга Андрея Богданова, «превеликое и прекрасное градоздание». На глазах современников Петербург преображался, строился, украшался, с каждым годом все более приобретая черты столицы могущественного государства, — по словам Герцена, «огромной части планеты, называемой Россией».

В 1830-е годы облик города на Неве создавался выдающимися архитекторами той поры — К. И. Росси, В. П. Стасовым, А. П. Брюлловым, А. И. Штакеншнейдером. Над застройкой столицы трудились также А. А. Михайлов, А. И. Мельников и многие другие зодчие.

Незадолго до приезда Герцена в Петербург по проекту К. И. Росси было расширено здание Публичной библиотеки и возведен Александринский театр. За театром Росси проложил улицу (ныне носящую его имя), завершив ее полукруглой площадью с радиально идущими от нее улицами и переулками (ныне площадь Ломоносова). Составной частью этого архитектурного ансамбля явилось здание министерства внутренних дел, где служил Герцен.

На другой стороне Невского проспекта по проекту архитектора А. П. Брюллова была возведена лютеранская церковь Петра и Павла. От центральной магистрали города к недавно построенному Михайловскому дворцу (ныне Русский музей) Росси проложил новую улицу (ныне улица Бродского). Михайловская площадь в 1830-е годы формировалась двумя новыми зданиями — Михайловским театром и Дворянским собранием (ныне Малый театр оперы и балета и Филармония).

Сенатскую площадь украсили здания Сената и Синода, соединенные триумфальной аркой, перекинутой через Галерную улицу (ныне Красная улица). В эти же годы В. П. Стасов закончил строительство Троицкого собора на Измайловском проспекте. Против Академии художеств архитектор К. А. Тон завершил сооружение гранитной набережной, украшенной фигурами египетских сфинксов.

Многие сооружения и монументы, возведенные в 1830-х годах, были призваны увековечить триумф России в Отечественной войне 1812 года. В 1834 году В. П. Стасов закончил строительство триумфальных Нарвских ворот. Они были установлены на том месте, где в 1814 году на пути возвращения русских воинов из Парижа стояла триумфальная арка. В другой части города, на Дворцовой площади, в том же году состоялось открытие Александровской колонны. Три года спустя по модели скульптора Б. И. Орловского перед Казанским собором были установлены отлитые из бронзы памятники М. И. Кутузову и Барклаю де Толли.

В 1840 году в Петербурге было 10 дворцов, 3265 каменных и 5396 деревянных домов, 1 монастырь и 166 церквей (в том числе 100 домовых).

В 1840—1841 годах, когда Герцен жил в столице, строительство продолжалось. «...Повсюду видишь постройки, надстройки, перестройки и пристройки», — острил фельетонист «Северной пчелы».

Продолжалось строительство Исаакиевского собора. На сорокатрехметровой высоте уже были установлены двадцать четыре колонны, окружавшие главный купол. Каждая монолитная гранитная колонна весом около 67 тонн и высотой более 13 метров была поднята при помощи специальных приспособлений. Затем началось сооружение подкупольного барабана. Работы шли полным ходом, и к 1842 году здание было в основном закончено.

В глубине Исаакиевской площади за Синим мостом через Мойку, между Вознесенским проспектом и Новым переулком, по проекту архитектора А. И. Штакеншнейдера воздвигался Мариинский дворец (ныне здание Исполкома городского Совета). Уже к началу 1841 года здание вчерне было закончено, недоставало двух фронтонов по бокам. Здесь впервые в Петербурге был применен новый строительный материал — песчаник. Наличники окон, карниз первого этажа, подъезд, все мелкие части аттика были сделаны из желто-серого мелкозернистого песчаника.

А рядом с Зимним дворцом на Миллионной улице было срыто здание Эрмитажа. Лишь главный фасад его со стороны Невы остался нетронутым, и, глядя на набережную с Дворцового моста, трудно было представить, что за сохранившимся фасадом ведутся строительные работы. Здесь в конце 1852 года закончилось строительство Нового Эрмитажа по проекту, разработанному архитектором Л. Кленце.

В декабре 1839 года, когда Герцен пробыл в столице десять дней, ему удалось увидеть лишь Петербург па-

радный, Петербург Зимнего дворца и Миллионной улицы, Невского проспекта и Английской набережной. Теперь он заглянул на городские окраины. Контраст был разительный. «Не угодно ли в Петербурге мерою в две версты отойти от Зимнего дворца по Петербургской стороне — какая пустота, нечистота!» — восклицал Герцен. Вместо аристократических особняков — одноэтажные деревянные домики; парадные площади и проспекты сменялись пустопорожними местами и едва застроенными улицами. Щегольские экипажи, беззвучно катившиеся по торцовым мостовым Невского и близлежащих улиц, сюда не заезжали. «Суета суетствий», по выражению Герцена, центральных частей столицы не доходила до городских окраин, они казались безлюдными. Если, например, население 3-й Адмиралтейской части приближалось к 70 тысячам человек, то во всей Охтинской части в конце 30-х годов обитало не более 7 тысяч жителей. Всего в 1840 году в столице насчитывалось 470 200 человек.

Социальный состав населения был весьма пестрым: служившие и отставные дворяне, разночинцы, мещане, посадские, цеховые, духовенство, крестьяне, иностранцы, военные, «дворовые люди при господах» и дворовые, жившие по паспортам, вольноотпущенные, студенты, воспитанники различных учебных заведений.

Почти половину всего населения Петербурга — 206 тысяч человек — составляли дворовые и крестьяне. Непрекращавшееся строительство требовало множества рабочих рук. Из разных губерний в столицу на заработки тянулись крестьяне. Их руками возводились дома и рылись каналы, прокладывались улицы и сооружались набережные. На строительстве одного лишь Исаакиевского собора в разные годы было занято около 11 тысяч человек. Над восстановлением Зимнего

дворца в 1837—1839 годах трудились почти 8 тысяч рабочих.

Герцен как-то заметил, что в Петербурге «все чиновники и солдаты». Он и здесь не преувеличивал: в 1840 году в столице насчитывалось 65 тысяч военных и 19 тысяч чиновников. Каждый пятый житель столицы, таким образом, был облачен в военный или чиновничий мундир. Неотъемлемая принадлежность казенного, военно-чиновничьего Петербурга 1830-х годов — стоящая на углу фигура солдата-будочника. По данным петербургского обер-полицмейстера, к концу 1839 года в столице было 259 военных будок и 304 полицейских.

Но Петербург, по замечанию Герцена, «имеет две стороны». Герцен испытывает настоящую радость, когда ему удается приобщиться к подлинному искусству. Натура глубоко эмоциональная, страстная, он обладал способностью всем существом отдаваться созерцанию великих произведений. Вспомним его глубокую взволнованность во время постановки «Гамлета» на сцене Александринского театра; слезы, вызванные танцем Тальони; восторг, которым он был охвачен, когда стоял перед «дивно-чудным» зданием Зимнего дворца.

Но для Герцена наслаждение великим творением искусства могло быть полным лишь в том случае, если оно сопровождалось глубоким пониманием его внутреннего смысла. Без такого осмысления ум оставался подавленным, порабощенным. «А быть подавленному величием, — писал Герцен, — невысокое эстетическое чувство». Неоднократно возвращался Герцен к одним и тем же произведениям. Это был «метод», которому он следовал. В «Письмах из Франции и Италии» Герцен полушутя заметил: «Мне кажется, самая лучшая метода — ходить к двум, трем картинам, к двум, трем

статуям, а с прочими встречаться, как с незнакомыми на улице, — может, они и хорошие люди, может, дойдет черед и до них, но не надобно натягивать знакомства».

Таким произведением, к которому Герцен возвращался неоднократно, стала картина К. Брюллова «Последний день Помпеи». После подлинного триумфа во многих городах Европы картина в 1834 году была доставлена в Петербург и помещена в Эрмитаж, а затем выставлена для широкого обозрения в Академии художеств. С тех пор не ослабевал интерес к этому шедевру русской живописи. Публика толпилась перед огромным полотном. Газеты и журналы наперебой писали о всеобщем восторге, вызванном картиной.

...Город разрушен, его жители погибли. Небольшой группе людей удалось избежать общей участи. Они мечутся в поисках спасения. Это последние мгновения их жизни. Еще удар — и они погибнут. Молитвы бесполезны, сопротивление невозможно, надежд на спасение нет.

На Герцена полотно произвело сильнейшее впечатление. «...Долго стояли мы перед ней, — писала Наталья Александровна, — наконец, кажется, гром и весь этот шум и треск слышен; кажется, нас самих сейчас ожидает гибель и смерть».

До нас дошло немало восторженных отзывов о «Последнем дне Помпеи». Современников поразило искусство художника, сумевшего художественными средствами изобразить трагедию сотен людей.

Н. В. Гоголь, посвятивший картине Брюллова целую статью, острее всего воспринял художественные достоинства произведения. Он назвал «Последний день Помпеи» «полным, всемирным созданием». Его восхищала скульптурность изображенных на картине

человеческих фигур. Художник, по его словам, сумел перенести на холст пластическое совершенство античной скульптуры и наполнить ее «какой-то тайной музыкой». Он писал: «Его фигуры прекрасны при всем ужасе своего положения... Нет ни одной фигуры у него, которая бы не дышала красотою, где бы человек не был прекрасен».

Другой современник, живописец и археолог Ф. Г. Солнцев, увидел в картине Брюллова прежде всего апофеоз любви: «В противоположность картине Бруни («Воздвижение Моисеем медного Змия»), где все страдает и мучается, у Брюллова все основано на любви. В «Последнем дне Помпеи» любовь царит везде: любовь к отцу, любовь к детям, любовь к золоту и т. д., даже мальчик схватывает птичку с любовью, для того, чтобы спасти ее».

Герцен увидел в «Последнем дне Помпеи» не пластику фигур и тем более не апофеоз любви. Изображенная на картине Брюллова неумолимая, тупая, бессмысленная стихия вызывала в нем ассоциации с николаевской действительностью, заставляла задуматься над тревожными вопросами. Что это за беспощадная сила, губящая людей? Склониться перед ней или бороться с нею? И возможна ли борьба?

Следуя своему «методу», Герцен возвратился к оценке картины два года спустя и 22 сентября 1842 года сделал запись в дневнике: «Высочайшее произведение русской живописи, разумеется, «Последний день Помпеи». Странно, предмет ее переходит черту трагического, самая борьба невозможна. Дикая, необузданная Naturgewalt [1], с одной стороны, и безвыходно трагическая гибель всем предстоящим. Мало воображение до-

[1] Стихийная сила природы (*нем.*).

полняет и видит ту же гибель за рамами картины. Что против этой силы сделает черноволосый Плиний, что христианин? Почему русского художника вдохновил именно этот предмет?»

Ответ на последний вопрос находим в очерке «Москва и Петербург», написанном в том же году: «Художник, развившийся в Петербурге, избрал для кисти своей страшный образ дикой, неразумной силы, губящей людей в Помпее, — это вдохновение Петербурга!»

«Дикая, неразумная сила», которую Герцен увидел в «Последнем дне Помпеи», надолго стала для него символом тупой, беспощадной силы деспотизма. В 1851 году в брошюре «Русский народ и социализм», стремясь дать передовому общественному мнению Западной Европы представление о царящем в России политическом гнете, Герцен напоминает о широко известной картине Брюллова: «Взгляните на это странное произведение. На огромном полотне теснятся в беспорядке испуганные группы; они напрасно ищут спасения. Они погибнут от землетрясения, вулканического извержения, среди целой бури катаклизмов. Их уничтожает дикая, бессмысленная, беспощадная сила, против которой всякое сопротивление невозможно. Это вдохновение, навеянное петербургскою атмосферою». Позднее, в статье «Новая фаза в русской литературе», снова возникает образ «дикой, тупой, неправой силы», изображенной художником. Герцен ставит «Последний день Помпеи» в один ряд с «Философическим письмом» Чаадаева и «Думой» Лермонтова, видя в них глубокое и верное отражение настроений передовой русской интеллигенции 1830-х годов.

Картина Брюллова вызывала у Герцена чувство трагической обреченности. Но всякая трагедия, как бы

она ни была ужасна, очищает и закаляет душу. И тут же, в той же дневниковой записи, в которой Герцен говорил о «Последнем дне Помпеи», он упоминает о другом произведении искусства, о другой трагедии: «На фронтоне Исаакиевской церкви будет барельеф, представляющий Исаакия Далматского, гордо не покоряющегося императору, бесящемуся и досадующему на него».

Здесь речь идет о горельефе Ф. Лемера, установленном на восточном фронтоне собора. В центре треугольника изображен римский император Валент, на коне, в окружении воинов. Перед ним в спокойной позе стоит Исаакий Далматский. Он предрекает гибель «нечестивому» императору. По приказу Валента воины заковывают Исаакия в цепи. Согласно легенде, пророчество Исаакия сбылось — в битве с готами Валент погиб.

Значит, борьба все-таки возможна. Герцен противопоставляет «Последний день Помпеи» и горельеф Лемера как трагедию гибели и трагедию борьбы. Тираноборческий смысл горельефа был настолько ясен, что Герцен сомневался, пропустит ли его цензура.

В июне Герцен и Наталья Александровна побывали в лютеранской церкви Петра и Павла. Здесь они видели другую картину Брюллова — «Распятие». Картина была закончена в 1838 году. К работе над ней Брюллов привлек своего ученика Т. Г. Шевченко. В лицах, позах, фигурах художник стремился передать драматизм ситуации и остаться верным натуре. «Дивное произведение» — так назвала Наталья Александровна картину Брюллова. Высказываний Герцена о картине не сохранилось.

В летние месяцы 1840 года Эрмитаж был закрыт, и Герцену удалось побывать здесь лишь в конце ав-

густа. После посещения Эрмитажа осенью 1840 года Герцен писал Т. А. Астраковой: «Тицианова богоматерь дивной красоты. После нее вы глядите на Рафаэлеву (где она представлена с Иосифом), и первое, что поражает, что его Мадонна не красавица, вы вглядываетесь... *просто* девушка, женщина — грустная и великая душа, глубокое чувство любви, и... она растет и делается богоматерью — а Тицианова остается разительной красавицей (впрочем, и в ней много святого). — Далее, блудный сын ужасен, исковеркан страстями, в рубище, глаза блестят безумием, он несчастен, и раскаяние уж начинает просветлять лицо его, падшее и искаженное...»

Живой интерес Герцена к искусству был неизменным. Летом и осенью 1840 года Герцен и Наталья Александровна несколько раз были в театре, слушали «Фенеллу» Обера, «Фиделио» Бетховена, «Роберта-Дьявола» Мейербера, «Норму» Беллини. Об этих спектаклях в их письмах имеются лишь краткие упоминания. Это не случайно. Театральный сезон 1840/41 года не блистал выдающимися исполнителями. Правда, осенью 1840 года в Петербурге начались гастроли знаменитой итальянской певицы Джудиты Паста. Она дала девять концертов, пела в «Норме», «Семирамиде», «Танкреде» и других операх. Но выступления певицы не имели успеха. Автор «Хроники петербургских театров» А. Вольф назвал ее «одной из величайших знаменитостей нашего века», но в то же время отметил: «Она поразила всех игрой, но голос был уже разбит, и она потерпела „fiasco“». 26 ноября в зале Дворянского собрания состоялся последний концерт итальянской певицы. В этот же день Герцен писал Ю. Ф. Курута: «Паста здесь и весьма недовольна приемом; я слышал

ее, это не *бархатное* пение, как вы выражались, а крик уязвленной львицы. Ужасный голос...»

Гораздо большее впечатление произвела на Герцена другая знаменитая артистка — немецкая певица Сабина Гейнефетер. Она пела в «Севильском цирюльнике», «Роберте-Дьяволе», «Фрейшюце». Критика отмечала ее сильное, густое, превосходно обработанное меццо-сопрано. Благодаря Гейнефетер ранее пустовавшая немецкая опера стала посещаться петербургской публикой. Но артистка не была ангажирована и вскоре уехала из Петербурга. Герцен слышал немецкую певицу в «Норме» Беллини. Ария «Casta Diva» напомнила ему пение дочери владимирского губернатора И. Э. Куруты, Ольги, обладавшей прекрасным голосом. «Я слышал известную Гейнефетер в «Норме», на «Casta Diva» вспомнил Ольгу Ивановну», — сообщал Герцен во Владимир.

Осенью 1840 года в Петербург возвратилась Мария Тальони. В сезоне 1840/41 года она танцевала в балетах прежних сезонов и двух новых — «Озеро волшебниц» и «Воспитанница Амура». Но время прежней славы Тальони уже прошло. В 1840 году появились первые признаки охлаждения петербургской публики к прежней любимице. На спектакли с ее участием уже не рвались, как ранее. Критик «Пантеона» иронизировал: «...Тальони увлекает ныне только три или четыре раза в целый вечер, срывает рукоплескания не более двадцати раз, вызывается только шесть и семь раз».

Герцен и Наталья Александровна видели Тальони в балете «Гитана» в конце августа 1840 года. «А и Тальони недурна» — так на сей раз отозвался Герцен о ее исполнении.

В потоке петербургских впечатлений одним из самых сильных было впечатление от моря. Не монумен-

ты столицы, даже не Зимний дворец, а именно море вызвало восторг Герцена.

После посещения Эрмитажа, назвав в письме к Т. А. Астраковой четыре поразившие его картины, Герцен добавляет: «А 5-я — море, которое обтекает Петергоф». И дальше: «...море, светлое, чистое море, я готов здесь жить и не могу на него насмотреться».

Море имело для Герцена особую притягательную силу. Выросший на берегах Москвы-реки, Герцен мог себе представить морские просторы лишь по картинам и описаниям. Он как-то признавался, что Пресненские пруды в Москве «были наибольшее количество воды, которое ему довелось видеть». Лишь однажды, проезжая Нижний Новгород по пути в ссылку (это было в апреле 1835 года), Герцен почувствовал величие «царь-реки Волги».

Он мечтал увидеть море, когда в декабре 1839 года впервые приехал в Петербург. Но Нева и залив были скованы льдом, и Герцен в письме к Наталье Александровне разочарованно и как-то по-детски наивно заметил: «А моря нет, и Невы нет». Герцен уезжал тогда из Петербурга с мыслью о море, о белых ночах.

И вот впервые перед ним открылась ширь морских просторов. Почти в каждом письме — восторженные слова о море. Герцен называет Петербург городом «шестиэтажных домов и шестимачтовых кораблей». «Эта близость к Европе, которая всякий день подъезжает на пароходе по Английской набережной; эта необычайная деятельность и, наконец, море! Я теперь, как Камоэнс, могу сказать: „И я плавал по широкому морю"!» — восклицает Герцен.

Незабываемое впечатление оставила прогулка по заливу. За Лисьим Носом пришлось пережить тревожные минуты — лодка села на мель, а затем гребец,

сбившись с пути, вышел в открытое море. И тут перед глазами открылась чарующая картина: берега раздвинулись и исчезли, солнце медленно опускалось в воду. А навстречу ему, из воды, поднималось другое солнце, такое же пышное и яркое... В этот вечер Наталья Александровна впервые видела море.

Приглашая Огарева приехать в Петербург, Герцен писал: «Итак, мы вместе увидим море, *я* тебе покажу его. Это одно из моих мечтаний». Вскоре после приезда Огарева Герцен повез своего друга в Петергоф во время бури, а простились друзья на берегу Невы: «...перед Зимним дворцом, перед крепостью, на берегу Невы мы обнялись, он пошел направо, я налево. А вечер был прекрасный... лучше проститься нельзя было...»

С мыслью о море связывались мечты Герцена о путешествии, о свободе: «...вот оно, море, манит, зовет, пароход ждет, кажется, только нас, куря свою огромную сигару от Петер<бурга> до Любека». Но эти мечты неожиданно обернулись новым разочарованием — не широкие морские просторы ожидали его, а новая ссылка на берега Волхова...

СРЕДИ ДРУЗЕЙ



В первые дни пребывания в Петербурге, когда Герцены еще снимали номер у Демута, их навестил Александр Лаврентьевич Витберг. Наталья Александровна впервые встретилась с человеком, имя которого ей хорошо было известно. Почти в каждом письме из Вятки она читала восторженные слова о Витберге — художнике, наделенном «колоссальной фантазией», «зодчем-гении», «великом человеке среди мелочного времени».

А. Л. Витберг был автором грандиозного проекта храма Христа Спасителя — монумента в честь победы 1812 года. Закладка храма состоялась 12 октября 1817 года на Воробьевых горах под Москвой, между дорогами Смоленской и Калужской — в том месте, где в последний раз находился арьергард отступавшей французской армии. Первый камень будущего храма положил Александр I, второй — Витберг. Художник был в апогее славы.

Но через несколько лет по навету многочисленных завистников Витберг был обвинен в присвоении казенных денег. Строительство храма прекратилось, начался

унизительный судебный процесс, длившийся около десяти лет. Витберг был осужден и по приказу Николая I сослан в Вятку.

Здесь он познакомился с Герценом. Витберг был далек от всякого политического протеста. Но Герцен видел в нем образец стойкости, верности своим принципам. Они сблизились и подружились. «Чувствуя возле себя этого сильного человека, я оттолкнул последнюю слабость», — писал Герцен.

В октябре 1839 года, после того как Витберг создал понравившийся Николаю I проект собора в Вятке, ему было разрешено приехать в Москву или в Петербург. Но на дорогу не было средств. Герцен хлопотал через Жуковского о денежном пособии для своего друга. Сам Витберг не стал ни о чем просить и, получив незначительную ссуду, приехал в Петербург. 22 мая 1840 года Наталья Александровна писала: «Здесь Витберг; мы видимся часто, присутствие такого человека — невыразимое наслаждение».

Когда-то в Вятке Витберг создал два портрета Герцена. Они написаны рукой друга, сумевшего не только передать внешнее сходство, но и раскрыть внутренний мир Герцена. Теперь Витберг начал писать портрет Натальи Александровны. Портрет не сохранился, как и бо́льшая часть созданного художником.

На короткое время Витберг возвратился в Вятку, а в сентябре 1840 года переехал в Петербург вместе с женой и детьми. Он пытался добиться пересмотра дела, снять с себя несправедливые обвинения, но получил отказ. Ему советовали оставить мысль об оправдании, а написать пожалостливее письмо с просьбой о пенсии.

Витберг отказался от подачи прошения, — он требовал правосудия, а не милости.



А. Л. Витберг. *Портрет работы П. Соколова.*

Попытка определиться на службу также не удалась. Для академика Витберга, автора выдающихся архитектурных проектов, в столице не нашлось применения. Пережив — в который раз! — крушение всех надежд, находясь на грани нищеты, Витберг вместе с семьей вынужден был поселиться у своей старшей сестры Х. Л. Гельк. Она жила на Песках. Так в старом Петербурге называлась местность, прилегавшая к Слоновой улице (ныне Суворовский проспект), соединявшей Смольный монастырь с Невским проспектом. В 1840-х годах это была глухая окраина. По словам современника, «по ту сторону старого, узкого и мрачного, с гранитными почерневшими башенками Аничковского моста все уже казалось краем света».

Витберг жил замкнуто, уединенно. Его изредка навещали друзья. «Здесь теперь Витберг со всем семейством, — писала Наталья Александровна, — что за дивный человек, только мы редко видимся, ужасно далеко живет...» В конце января 1841 года Герцен писал В. Пассеку о бедственном положении своего друга.

Неудачи Витберга, нищета, в которой он находился, глубоко огорчали Герцена. Но облегчить его положение



К. И. Арсеньев. *Гравюра Н. Брезе.*

он не мог, тем более что вскоре сам подвергся новым гонениям.

Кроме Витберга Герцен виделся в Петербурге с Константином Ивановичем Арсеньевым. Их отношения приняли, по-видимому, дружеский, доверительный характер. «К. И. Арсеньев со мною несказанно хорош; у него я бываю...» — писал Герцен Д. П. Голохвастову 3 июля 1840 года. Арсеньев жил тогда на Офицерской улице, 20, в доме Гергарда (ныне улица Декабристов, 19).

Арсеньев пользовался исключительным правом извлекать секретные документы из государственных архивов. Возможно, с некоторыми из них он познакомил своего молодого друга. Известно, что именно от Арсеньева Герцен впервые узнал о существовании «Записок» Екатерины II.

В 1858 году копия «Записок» была доставлена к Герцену в Лондон и в следующем году напечатана в Вольной русской типографии. В предисловии к изданию «Записок» Герцен писал: «...первым, кто рассказал мне об этом, — был наставник царствующего ныне императора, Константин Арсеньев. Он говорил мне,

в 1840 году, что им получено было разрешение прочесть множество секретных бумаг о событиях, происходивших в период от смерти Петра I и до царствования Александра I. Среди этих документов ему разрешили прочесть «Записки» Екатерины II».

Сохранилось одно письмо Герцена к Арсеньеву, отправленное из Новгорода в феврале 1842 года. Позднее его имя в дошедшей до нас переписке Герцена не упоминается.

Ожидали Герцена встречи с московскими друзьями — М. А. Бакуниным, А. Н. Савичем, М. П. Носковым, В. В. Пассеком.

С Бакуниным Герцен познакомился в 1839 году в Москве после возвращения из ссылки. Будущий идеолог анархизма был в то время двадцатипятилетним отставным артиллерийским офицером и одним из самых страстных пропагандистов философии Гегеля. «Бакунин мог говорить целыми часами, спорить без устали с вечера до утра, не теряя ни диалектической нити разговора, ни страстной силы убеждения», — писал о нем Герцен.

«Символом веры» Бакунина была теория «примирения с действительностью» во всех отношениях и во всех сферах жизни. Во власти этой теории находился тогда и Белинский. В кружке московских гегелистов Бакунин претендовал на роль безошибочного толкователя философии Гегеля и требовал от своих друзей, в том числе и от Белинского, безоговорочного принятия своей точки зрения. Деспотическая опека Бакунина вызывала недовольство критика. Белинский писал, что Бакунин, «кроме глубокой натуры и гения, требовал еще от удостаиваемых его дружбы одинакового взгляда даже на погоду и одинакового вкуса даже в гречневой каше».

При встречах между Герценом и Бакуниным разгорались жаркие споры. Герцен был противником теории «примирения» и стремился внести в проповедуемую Бакуниным теорию «побольше революционных элементов».

В октябре 1939 года Бакунин начал готовиться к поездке за границу для поступления в Берлинский университет. Он смог осуществить свое намерение благодаря материальной поддержке Герцена и Огарева.

В конце июня 1840 года Бакунин приехал в Петербург, несколько раз виделся с Белинским и Герценом. Наметившиеся еще в Москве расхождения с Белинским завершились в Петербурге резкой ссорой. Бакунин уезжал из России, разорвав связи со многими прежними друзьями. Герцен оставался единственным близким человеком в Петербурге. «Герцен, а особливо жена его были моею отрадою в Петербурге, — писал позднее Бакунин. — Он — прекрасный, умный, благородный человек; она — святое, любящее, истинно женственное существо. Я был дома с ними».

Отъезд Бакунина был назначен на 29 июня 1840 года. Его провожал один Герцен. Утром они сели на пароход, который должен был доставить пассажиров в Кронштадт. Но через два часа пароход вынужден был повернуть обратно. В этот день на Петербург обрушился ураганный ветер. В нескольких местах Нева вышла из берегов и затопила близлежащие улицы. «Ведомости С. П. Бургской городской полиции» со скрупулезной точностью перечисляли причиненные в этот день разрушения: в Летнем саду с корнем вырвало дерево, на Неве залило водой несколько барок, а на Невском проспекте из окна каланчи городской Думы «вышибло летнюю о 4-х стеклах раму, которая, носясь

по воздуху, упала на торцовую настилку против Думы».

Вынужденное возвращение в Петербург произвело на Бакунина и Герцена удручающее впечатление. Рассказывая впоследствии об этом эпизоде в статье «Михаил Бакунин», Герцен писал: «Я указал Бакунину на мрачный облик Петербурга и процитировал ему те великолепные стихи Пушкина, в которых он, говоря о Петербурге, бросает слова словно камни, не связывая их меж собой: «Город пышный, город бедный, дух неволи, стройный вид, свод небес зелено-бледный... Скука, холод и гранит». Бакунин не захотел сойти на берег, он предпочел дожидаться часа отъезда в каюте. Я расстался с ним, и до сих пор еще в моей памяти сохранилась его высокая и крупная фигура, закутанная в черный плащ и яростно поливаемая неумолимым дождем; помню, как он стоял на передней палубе парохода и в последний раз приветствовал меня, махая мне шляпой, когда я устремился на поперечную улицу...»

Несколько раз Герцен виделся в Петербурге с Алексеем Николаевичем Савичем. Выдающийся русский ученый, один из основоположников отечественной астрономии, Савич в 1830-е годы был деятельным членом кружка Герцена — Огарева. Девятнадцатилетним юношей он закончил физико-математическое отделение Московского университета, а через три года защитил диссертацию на степень магистра астрономии.

Незадолго до арестов Савич отправился в профессорский институт при Дерптском университете и через шесть лет стал экстраординарным профессором астрономии в Петербургском университете. Определение состоялось в декабре 1839 года, как раз в те дни, когда Герцен находился в Петербурге.

Но их встреча произошла лишь весной следующего года. «Савич здесь профессором звездологии, — писал Герцен Т. А. Астраковой, — и, право, даром хлеб ест, потому что не токмо такого вздору, как звезды, да солнца (погуще всякой звезды, даже Полярной и андреевской) никогда не видать...»

Добродушно-иронический тон этих строк вызван постоянной сосредоточенностью Савича, целиком ушедшего в науку. В. В. Пассек, навестивший его вместе с Герценом, отмечал, что Савич «все тот же, только еще больше отделился от людей; была бы на небе одна звезда, да на земле на чем стоять, так для него и довольно».

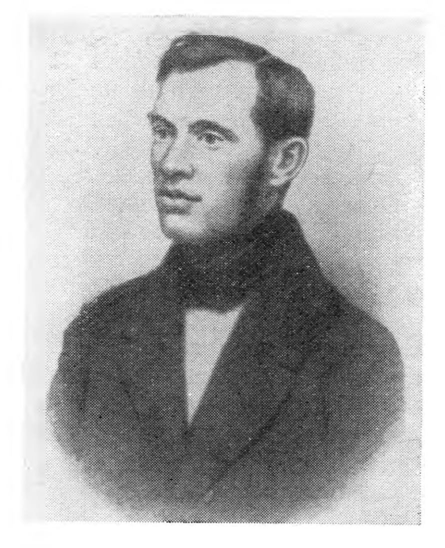
После отъезда Герцена из Петербурга они больше не встречались.

Иными были отношения Герцена с другим членом студенческого кружка — Михаилом Павловичем Носковым. Ни к кому из своих университетских друзей (исключая, разумеется, Огарева) Герцен не относился с такой теплотой и сердечностью, как к Мише Носкову. «От Носкова на днях письмо — наконец — горячее, теплое, одним словом письмо от Носкова. Что за прелестная душа!» — восклицал Герцен в одном из писем.

Сведения об этом университетском товарище Герцена и Огарева чрезвычайно скудны. Его письма к друзьям, написанные «с жаром и огнем», не сохранились. Даже годы его жизни до сих пор были неизвестны. Архивные документы частично восполняют этот пробел.

Носков был принят на физико-математическое отделение Московского университета на год раньше Герцена. Окончив университет с серебряной медалью, Носков переехал в Петербург и был определен помощни-

А. Н. Савич. *Фотография.*



ком контролера в артиллерийский департамент военного министерства.

Вскоре после ареста Герцена, Огарева, Сатина и других членов студенческого кружка был взят и Носков. Однако после допроса его освободили и даже дали отпуск в Москву на 28 дней — «все равно никого уже не увидит».

В январе 1835 года Носков был переведен из артиллерийского департамента на должность старшего учителя в Александровское училище в Павловске. Потом три с половиной года он был гувернером, учителем русского языка и членом комитета Высшего коммерческого пансиона. С сентября 1843 года и до конца жизни Носков служил в Петербургском коммерческом училище.

В скромном послужном списке Носкова немало документов, говорящих о том, как сильно он нуждался. Дворянин по происхождению (его родители владели родовым имением в 16 душ в Ярославской губернии), он был настоящим разночинцем-тружеником по роду деятельности и образу жизни. Ему приходилось существовать с семьей на весьма скромное учительское жалованье.

«...Милое, доброе, радушное семейство», — писала Наталья Александровна 1 ноября 1840 года после встречи с новыми для нее друзьями. Носков жил в это время по месту службы на 1-й линии Васильевского острова, 29 (ныне дом № 28). Видимо, здесь и бывали у него Герцен и Наталья Александровна. Сюда пришел и Огарев, когда в апреле 1841 года приехал в Петербург. «ВиделНоск<ова> — самый отрадный вечер провел у него. Что за чистота, что за кротость!» — писал он в Москву.

По-видимому, Герцен виделся с Носковым и в октябре 1846 года, когда лишь на несколько дней приезжал в столицу. Носков жил тогда по другому адресу, на служебной квартире, в доме коммерческого училища, на углу Загородного проспекта и Чернышева переулка (ныне дом № 13, на углу Загородного проспекта и улицы Ломоносова).

Носков не оставил следа в литературе или в науке, но теплую память о Носкове Герцен и Огарев сохранили навсегда. В 1873 году, на склоне лет вспоминая о друзьях своей юности, Огарев писал Т. П. Пассек: «Сегодня мне пришел на память прежний друг Носков, не могу отделаться от воспоминаний его дружеского образа и преданной дружбы. Напиши мне, если знаешь, — жив он или нет». Огарев не знал, что Носкова уже давно не было в живых. Он умер 27 мая 1862 года в возрасте 50 лет.

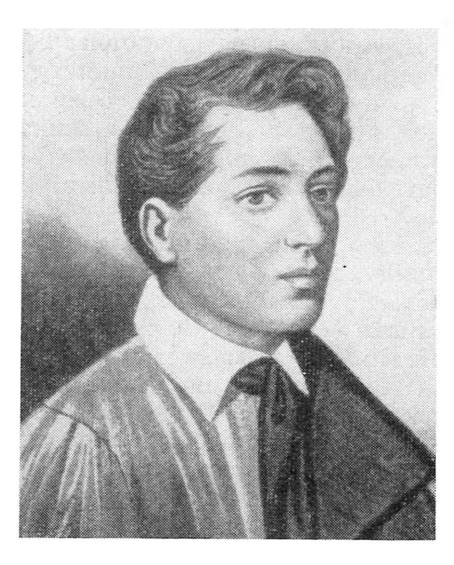
В начале октября 1840 года в Петербург приехал один из самых деятельных членов студенческого кружка Герцена и Огарева — Вадим Васильевич Пассек.

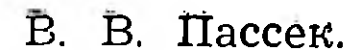
К этому времени он был автором нескольких статей и книг по истории, статистике и этнографии. В Петербург Пассека привели литературные и служебные дела. Он хотел встретиться с петербургскими литера-

торами, повидаться с К. И. Арсеньевым, покровительствовавшим молодым ученым, представить министру внутренних дел недавно выпущенную книгу «Очерки России», добиться назначения на должность чиновника особых поручений при министре и заодно познакомиться с Петербургом — таковы были обширные цели этой поездки.

Пассек начал с последнего. Как и каждого, впервые приезжавшего в столицу, Петербург его поразил. «Громада зданий, прекрасные улицы, каналы, корабли, паровозы, монументы, войско — все это, помноженное само на себя, будет Петербург», — писал он жене. С точностью статистика (Пассек любил цифры и факты) он сообщал, что Невский проспект — «это широкая улица версты на четыре длиною», что здание Главного штаба имеет по фасаду 175 окон, что один газовый фонарь на Невском проспекте освещает ярче десяти обыкновенных. Из письма следовало также, что Исаакиевский собор имеет в высоту 47 сажен, вмещает 12 тысяч человек, а украшают здание 24 ангела «в колоссальном виде».

Особое впечатление на Пассека произвела поездка по железной дороге: «Прокатился по железной дороге в Царское Село и в Павловск. Сначала дико немножко, а назад ехал и дремал под вечерок. Удобств много. Ездило до Царского Села человек 200, а в Павловск — человек 10; назад же — до 300. При хорошей езде в 20 минут 25 верст. Теперь ты спокойна: я уже не поеду более, чтобы ты не тревожилась. Впрочем, здесь ездят три раза в день, и все много народа. Машина бежит, как будто в сказках: искры сыплются на дороге, белый пар стелется дугою, как грива, — и этот великан дрожит и ходит ходнем и тащит за собою пудов тысячи две и три».





В. В. Пассек.

10 октября Пассек встретился с Герценом и в письме к жене с той же обстоятельностью сообщил несколько любопытных подробностей о его жизни. «Вчера обедал у Александра, — писал он, — и условились повторять это каждый день. Он живет с Сережей Львицким, платит за квартиру 2500 рублей, 100 рублей за воду и почти столько же, чтобы носили им дрова на третий этаж; но не думай, чтобы этот этаж был слишком высок; есть и четвертый, и пятый, и шестой. Комнаты высоки и так отделаны, как немного в лучших московских домах».

Это письмо было написано в доме Герцена, так как дальше следует его приписка: «Ну вот, Вадим и в Питере, и мы с ним по-прежнему толкуем да толкуем...»

Когда-то в начале 1830-х годов Пассек был одним из самых близких друзей Герцена. «Ты, Вадим и я — мы составляем одно целое...» — писал Герцен Огареву в 1833 году. Теперь, семь лет спустя, о встрече с другом он ограничился одной, подчеркнуто сдержанной фразой. Да и слово «толкуем» не очень свойственно его речи.

Что произошло? Почему Герцен, всегда восторженно откликавшийся на дружеский привет, так сухо отнесся к приезду друга?

Годы и обстоятельства проложили между ними грань, которую трудно, невозможно было перейти.

В студенческие годы Пассек разделял свободолюбивые настроения студенческого кружка. По словам Герцена, он «ненавидел от всей души самовластье».

Но вскоре после окончания университета обозначились идейные разногласия друзей. Интерес Пассека к политическим и социальным вопросам, характерный для всего герценовского кружка, стал отступать на второй план. В 1834 году В. В. Пассек выпустил книгу «Путевые записки Вадима ***», вызвавшую резкий отзыв Белинского. Герцен также был недоволен книгой и не скрывал этого.

Во взглядах Пассека все отчетливее начинали проступать консервативные тенденции с сильным налетом славянофильских и религиозных настроений. Было ясно, что бывший единомышленник расстался со свободолюбивыми юношескими идеалами. Взаимная симпатия сменилась отчужденностью и даже озлоблением, переписка прекратилась.

В дальнейшем отношения прежних друзей несколько сгладились. Рассказывая о пребывании Вадима Пассека в Петербурге, Т. П. Пассек писала в своих «Воспоминаниях»: «С Александром Вадим видался каждый день, их прежние интимные отношения восстановились; они вместе проводили вечера, вместе осматривали Эрмитаж, вместе в театре восхищались танцами Тальони и видались с А. Н. Савичем и Белинским».

Свидетельство мемуаристки не вызывает сомнений, кроме ее утверждения о том, что между бывшими

друзьями восстановились «прежние интимные отношения». Прежнего единомыслия уже не могло быть.

Герцену было известно, что в Москве Пассек принадлежит к кружку реакционно настроенных писателей, «квасных патриотов», группировавшихся вокруг А. Ф. Вельтмана и М. П. Погодина, а в Петербурге ведет переговоры о совместной литературной работе с Гречем. Николай Полевой, известный своими казенно-патриотическими произведениями, сделал попытку примириться с Герценом и избрал для этой цели посредничество Пассека. Все это исключало возможность восстановления «интимных отношений».

Вспоминая о своей встрече с Пассеком, Герцен впоследствии писал: «В 1840 году мы встретились в Петербурге, расстояние между нами было непереходимое; но я тогда в нем оценил прекрасного семейного человека, и мы сблизились опять и так остались до его кончины».

Встречи с друзьями доставляли много радости, но были слишком редки и мимолетны. Герцен и Наталья Александровна по-прежнему были одиноки в столице. Свое одиночество они особенно остро почувствовали, когда в июле 1840 года тяжело заболел сын Саша. Примененное врачом гомеопатическое лечение только ухудшило состояние. Три недели продолжалась борьба за жизнь ребенка. Иногда казалось, что усилия бесполезны. «...Подле нас нет души близкой, родной, которая бы утешила, подкрепила нас, — писала Наталья Александровна, — и все или сторонний холод, убивающий последние силы, или мы своими страданиями растравляем более друг другу душу».

Это признание было сделано уже после того, как сын выздоровел и жизнь вошла в обычную колею. Но сколько в нем горечи! Наталья Александровна никого

не назвала по имени, но слова о «стороннем холоде» явно относились и к ее сестре Анне Александровне Орловой, и к двоюродному брату Герцена Сергею Львовичу Левицкому — казалось бы, самым близким в Петербурге людям.

Отношения с А. А. Орловой, по-видимому, никогда не были близкими. После того как Орлова на три недели приютила приехавших в столицу родственников у себя, ее имя ни разу не упоминается в письмах Герцена.

Сергей Львович Левицкий был сыном дяди Герцена, Льва Алексеевича Яковлева, прозванного «Сенатором». Сергей был на семь лет моложе Герцена. Как уже говорилось, в Петербурге они поселились вместе на Большой Морской улице.

Что же представлял собой человек, проживший бок о бок с Герценом больше года?

В 1835 году, когда Герцен находился уже в ссылке, Левицкий поступил на юридический факультет Московского университета, не чувствуя, по его признанию, «ни малейшего влечения» к юридическим наукам.

Кончив курс со званием действительного студента, Левицкий переехал в Петербург и в сентябре 1839 года был определен в канцелярию министра внутренних дел. Таким образом, Герцен и Левицкий служили вместе, в одной канцелярии, под начальством фон Поля.

Образованный, общительный, остроумный, Левицкий за короткое время приобрел широкие знакомства и был, по словам Герцена, un homme répandu, то есть известным в свете человеком.

В это же время Левицкий страстно увлекался дагерротипией (первоначальный способ фотографирования) и скоро достиг в этой области высокого мастерства. В 1843 году два дагерротипа Левицкого с видами

Кавказа каким-то образом попали в руки французского оптика Шевалье, получившего за них золотую медаль на парижской выставке. Это была первая в истории фотографии медаль за художественные снимки.

Левицкий ввел в обиход слово «светопись». Новый термин вызвал град насмешек. «Я тогда на беду жил и почти ежедневно виделся с литераторами, в том числе с Белинским, Панаевым, Краевским, Языковым, гр. Соллогубом. Искренно жалею, что не могу передать всех острот, которые лились на это несчастное, хотя и удачное название ,,светопись“», — писал Левицкий. Можно думать, что в круг петербургских писателей он был введен Герценом.

Левицкий пользовался широкой известностью как первоклассный художник-фотограф. Ему принадлежит немало снимков русских писателей, художников, композиторов.

В октябре 1845 года в Риме Левицким был сделан уникальный дагерротип, запечатлевший Н. В. Гоголя в кругу русских художников — Ф. А. Моллера, Н. А. Рамазанова, П. А. Ставассера, А. Н. Мокрицкого и других.

Долгое время об этом дагерротипе ничего не было известно. Лишь в конце 1870-х годов его обнаружил выдающийся русский художественный и музыкальный критик В. В. Стасов. В 1879 году ему удалось опубликовать фотографию с дагерротипа в журнале «Древняя и новая Россия». В сопроводительной статье Стасов рассказал о возникновении снимка, дал краткие, но выразительные характеристики изображенных на нем художников. Но Стасов ошибочно полагал, что автором дагерротипа был французский фотограф Перро.

Между тем в своих воспоминаниях Левицкий писал: «Мне пришлось снять группу, в которой участвовал и Гоголь. Экземпляров этой группы очень мало,



Н. В. Гоголь в кругу русских художников в Риме в 1845 г. (сидит во втором ряду второй слева С. Л. Левицкий). *Дагерротип С. Л. Левицкого.*

так как она была снята на дагерротипной пластинке в $^1/_4$, с которой тогда трудно было сделать копию. Один из экземпляров попал к многоуважаемому Михаилу Ивановичу Семевскому, который воспроизвел ее фототипией, если не ошибаюсь, в «Русской старине» восьмидесятых годов.

В этой группе участвовали 16 или 17 человек; позировка была на открытой террасе в мастерской Перро; пластинка была держана 40 секунд... но несмотря на долгую позу, центр группы вышел превосходно, края не совсем отчетливо».

Безусловно, здесь речь идет о том изображении, которое обнаружил и опубликовал Стасов.

Дагерротип интересен и в другом отношении — на нем изображен сам автор, Левицкий.

Левицкому принадлежит несколько фотографических портретов Герцена. Один из самых удачных был сделан в Париже в июне 1861 года. Герцен запечатлен в свободной, привычной позе. Он сидит в кресле, облокотившись правой рукой на стол и подперев ею голову. Левицкому удалось уловить свойственное Герцену выражение глубокой задумчивости, сосредоточенности. Герцен считал этот портрет «превосходным» и охотно дарил его своим друзьям.

К этому времени отношения Герцена и Левицкого возобновились после длительного перерыва. Необходимо, однако, подчеркнуть, что между Герценом и его двоюродным братом идейной близости никогда не было — ни в Петербурге, когда они жили на одной квартире, ни в 1850—1860-х годах, когда они встречались за границей.

«...ОН СДЕЛАЛСЯ МОИМ ПАРТИЗАНОМ»



амым значительным событием жизни Герцена в Петербурге явилась, безусловно, его новая встреча с Белинским.

За семь месяцев, которые прошли после их встречи в декабре 1839 года, в настроениях и взглядах Белинского произошел решительный перелом. В Петербурге Белинский воочию увидел царство «материальной животной жизни, чинолюбия, крестолюбия, деньголюбия, взяточничества, безрелигиозности, разврата, отсутствия всяких духовных интересов, торжества бесстыдной и наглой глупости, посредственности, бездарности, — где все человеческое, сколько-нибудь умное, благородное, талантливое осуждено на угнетение, страдание, где цензура превратилась в военный устав о беглых рекрутах, где свобода мыслей истреблена... где Пушкин жил в нищенстве и погиб жертвою подлости, а Гречи и Булгарины направляют всей литературою, помощию *доносов*, и живут припеваючи».

В Петербурге Белинский приходит к признанию идеи отрицания, «как исторического права, не менее

первого священного, и без которого история человечества превратилась бы в стоячее и вонючее болото...».

В марте 1840 года в «Отечественных записках» появилась статья Белинского «О детских книгах», в которой критик изложил свои педагогические взгляды. По-прежнему признавая существующую действительность «разумной», Белинский в то же время дал убийственную характеристику домашнего воспитания, вскрыл его порочность, фальшь, отсутствие подлинного уважения к личности ребенка. Гегелевская апология действительности под пером Белинского превращалась в обличение этой действительности. Уродливой системе дворянского воспитания критик противопоставил требования гуманизма и демократизма — и не только в вопросах педагогики.

Это не прошло мимо внимания Герцена. Он заметил, что статья Белинского противоречит его прежним «примирительным» настроениям.

Однако взаимная отчужденность была еще сильна. До Белинского доходили вести о неодобрительном отношении к нему Герцена. Размолвка тягостно действовала на общих друзей. В одном из писем Кетчер доказывал Герцену, что «вся литературная сволочь и в подметки не годится» Белинскому, и советовал «не расходиться совершенно с Белинским и не слушать всех вздоров». Огарев также настаивал на примирении.

Первые шаги к примирению сделал Герцен. В июне 1840 года он справлялся в конторе «Отечественных записок» об адресе Белинского. Но встреча произошла лишь в июле или начале августа. Об этом знаменательном событии есть рассказ в «Былом и думах»: «Через несколько месяцев после его отъезда в Петербург в 1840 году приехали и мы туда. Я не шел к не-

му. Огареву моя ссора с Белинским была очень прискорбна, он понимал, что нелепое воззрение у Белинского была переходная болезнь, да и я понимал, но Огарев был добрее. Наконец он натянул своими письмами свидание. Наша встреча сначала была холодна, неприятна, натянута, но ни Белинский, ни я — мы не были большие дипломаты, в продолжение ничтожного разговора я помянул статью о „бородинской годовщине". Белинский вскочил с своего места и, вспыхнув в лице, пренаивно сказал мне: „Ну, слава богу договорились же, а то я с моим глупым нравом не знал, как начать... Ваша взяла; три-четыре месяца в Петербурге меня лучше убедили, чем все доводы. Забудемте этот вздор. Довольно вам сказать, что на днях я обедал у одного знакомого, там был инженерный офицер; хозяин спросил его, хочет ли он со мной познакомиться? „Это автор статьи о бородинской годовщине?" — спросил его на ухо офицер. — „Да". — „Нет, покорно благодарю", — сухо ответил он. Я слышал все и не мог вытерпеть, — я горячо пожал руку офицеру и сказал ему: „Вы благородный человек, я вас уважаю... Чего же вам больше?"».

Осенью и зимой 1840 года Герцен и Белинский виделись неоднократно. В начале октября они беседовали о Михаиле Бакунине, незадолго до этого уехавшем за границу. В середине октября Белинский встретился с Герценом и Вадимом Пассеком. В «Былом и думах» рассказано еще об одной встрече, которую трудно датировать. Герцен передал Белинскому рукопись двух своих драматических произведений — «Лициний» и «Вильям Пен». На другой день Белинский вернул их с предложением переписать стихи в строчку, недвусмысленно дав понять, что сцены произвели на него неблагоприятное впечатление.



В. Г. Белинский. *Гравюра Ф. Иордана. 1859 г.*

С каждой новой встречей обнаруживалась общность взглядов, росла взаимная симпатия. В декабре 1840 года Белинский писал о Герцене: «...этот человек мне все больше и больше нравится. Право, он лучше их всех: какая восприимчивая, движимая, полная интересов и благородная натура! Об искусстве я с ним говорю слегка, потому что оно и доступно ему только слегка, но о жизни не наговорюсь с ним. Он видимо изменяется к лучшему в своих понятиях. Мне с ним легко и свободно. Что он ругал меня в Москве за мои *абсолютные* статьи, — это новое право с его стороны на мое уважение и расположение к нему».

В свою очередь Герцен с удовлетворением сообщал в одном из писем: «Белинскому я могу выдать аттестат в самых похвальных выражениях. Чтоб характеризовать его благодатную перемену, достаточно сказать, что он пренаивно вчера рассказывал: «Один человек, прочитавший мою статью о Бор., перестал читать «Отеч<ественные> зап<иски>», вот благородный человек». — Мы сблизились с ним».

«Благодатную перемену» во взглядах Белинского Герцен в полной мере почувствовал во время ожесто-

ченного спора, который произошел в январе 1841 года на литературном вечере у И. И. Панаева. Один из гостей взял на себя неблаговидную роль адвоката николаевских жандармов.

«В числе закоснелейших немцев из русских, — писал Герцен, — был один магистр нашего университета, недавно приехавший из Берлина; добрый человек в синих очках, чопорный и приличный, он остановился навсегда, расстроив, ослабив свои способности философией и филологией. Доктринер и несколько педант, он любил поучительно наставлять. Раз на литературной вечеринке у романиста... магистр проповедовал какую-то чушь honnête et modérée [1]. Белинский лежал в углу на кушетке, и когда я проходил мимо, он меня взял за полу и сказал:

— Слышал ли ты, что этот изверг врет? У меня давно язык чешется, да что-то грудь болит и народу много; будь отцом родным, одурачь как-нибудь, прихлопни, убей какой-нибудь насмешкой, ты это лучше умеешь — ну утешь.

Я расхохотался и ответил Белинскому, что он меня натравливает, как бульдога на крыс. Я же этого господина почти не знаю, да и едва слышал, что он говорит.

К концу вечера магистр в синих очках, побранивши Кольцова за то, что он оставил народный костюм, вдруг стал говорить о знаменитом «Письме» Чаадаева и заключил пошлую речь, сказанную тем докторальным тоном, который сам по себе вызывает на насмешку, следующими словами:

— Как бы то ни было, я считаю его поступок презрительным, гнусным, я не уважаю такого человека.

---

[1] Благопристойную и умеренную (*франц.*).

В комнате был один человек, близкий с Чаадаевым, это я. О Чаадаеве я буду еще много говорить, я его всегда любил и уважал и был любим им; мне казалось неприличным пропускать дикое замечание. Я сухо спросил его, полагает ли он, что Чаадаев писал свою статью из видов или неоткровенно.

— Совсем нет, — отвечал магистр.

На этом завязался неприятный разговор; я ему доказывал, что эпитеты «гнусный», «презрительный» — *гнусны* и *презрительны,* относясь к человеку, смело высказавшему свое мнение и пострадавшему за него. Он мне толковал о целости народа, о единстве отечества, о преступлении разрушать это единство, о святынях, до которых нельзя касаться.

Вдруг мою речь подкосил Белинский. Он вскочил с своего дивана, подошел ко мне уже бледный, как полотно, и, ударив меня по плечу, сказал:

— Вот они, высказались — инквизиторы, цензоры — на веревочке мысль водить... — и пошел, и пошел.

С грозным вдохновением говорил он, приправляя серьезные слова убийственными колкостями.

— Что за обидчивость такая! Палками бьют — не обижаемся, в Сибирь посылают — не обижаемся, а тут Чаадаев, видите, зацепил народную честь — не смей говорить; речь — дерзость, лакей никогда не должен говорить! Отчего же в странах больше образованных, где, кажется, чувствительность тоже должна быть развитее, чем в Костроме да Калуге, не обижаются словами?

— В образованных странах, — сказал с неподражаемым самодовольством магистр, — есть тюрьмы, в которые запирают безумных, оскорбляющих то, что целый народ чтит... и прекрасно делают.

Белинский вырос, он был страшен, велик в эту минуту. Скрестив на больной груди руки и глядя прямо на магистра, он ответил глухим голосом:

— А в еще более образованных странах бывает гильотина, которой казнят тех, которые находят это прекрасным.

Сказавши это, он бросился на кресло, изнеможенный, и замолчал. При слове «гильотина» хозяин побледнел, гости обеспокоились, сделалась пауза. Магистр был уничтожен...»

В гневной речи Белинского нет уже и следа прежних «примирительных» настроений. И Герцен с радостью отмечал, что «благодатная перемена» в Белинском произошла не без его участия.

Герцен отдал Белинскому много душевных сил, симпатии, любви. Благородство, талант диалектика, энциклопедическая образованность, живой и ясный ум Герцена приводили Белинского в восхищение. «У тебя страшно много ума, так много, что я не знаю, зачем его столько одному человеку...» — восклицал Белинский в одном из позднейших писем к Герцену. Часто, выбившись из сил от изнуряющей журнальной работы, желчный и раздраженный, Белинский находил отдых в семье Герцена. Он мог часами, лежа на полу, играть с двухлетним Сашей. Его радушно встречала Наталья Александровна, вызывавшая глубочайшее почтение Белинского. «...Что это за женственное, благороднейшее создание, полное любви, кротости, нежности и тихой грации», — писал Белинский о жене Герцена. Многими светлыми минутами в своей трудной жизни Белинский был обязан Герцену.

Но и для Герцена дружба с Белинским была великой жизненной школой. Чрезвычайно взыскательный и требовательный к себе, Герцен очень часто был не

удовлетворен своими произведениями. Драматические сцены «Вильям Пен» вызвали резко критическую самооценку: «...я решительно сожгу этот неудавшийся опыт». По поводу двух своих произведений — «Легенда» и «Елена» Герцен решительно заявил: «Дело решенное: повести — не мой род».

Ни Огарев, ни Кетчер, ни Витберг, хорошо знакомые с ранними произведениями Герцена, не смогли определить этот «род». Это сделал Белинский. Особенности творческого дарования Герцена он проницательно уловил в «Записках одного молодого человека». Автобиография и публицистика, бытовые картины и лирические раздумья, мысль ученого и воображение художника, спаянные в нерасчленимом синтезе, — это и был его настоящий жанр.

Белинский напечатал произведение Герцена в «Отечественных записках», а в письме к Кетчеру с восторгом отметил: «Статья Герцена — прелесть, объедение. Давно уже я не читал ничего, что бы так восхитило меня».

Прошло много лет. Жанр художественной автобиографии, как и предвидел Белинский, стал главным в творчестве Герцена. В 1863 году, сообщая сыну о своем намерении продолжать работу над «Былым и думами», Герцен писал: «Это мой настоящий genr, и Белинский угадал это в 1839 году».

Перед Герценом раскрылась героическая натура «неистового Виссариона». Трибун, борец, революционер, Белинский воплощал в себе те качества, которые Герцен особенно ценил и которые хотел видеть в своих друзьях. В ноябре 1842 года он записал в своем дневнике: «Письмо от Белинского. Фанатик, человек экстремы, но всегда открытый, сильный, энергичный. Его можно любить или ненавидеть, середины нет. Я истинно



Н. А. Герцен с сыном Александром. *Акварель К. А. Горбунова. 1841 г.*

его люблю. Тип этой породы людей — Робеспьер». Более высокой похвалы Герцен не знал.

Неоценимую моральную поддержку Белинского Герцен почувствовал, когда он подвергся новым преследованиям — запрещению жить в Москве и Петербурге. Белинский всем своим существом был возмущен произволом властей. И если Герцену сравнительно быстро удалось оправиться после перенесенного удара, то в этом была немалая заслуга Белинского. «В самом деле, я начинаю ощущать пользу контузии № 2, — писал Герцен Огареву. — Я было затерялся (по примеру XIX века) в сфере мышления, а теперь снова стал действующим и живым до ногтей; самая злоба восстановила меня во всей практической доблести, и, что забавно, на самой этой точке мы встретились с Виссарионом и сделались партизанами друг друга».

«Партизаны» — так Герцен определил свои отношения с Белинским — отношения единомышленников и соратников. Именно такой смысл имело в то время это слово.

Белинский стал партизаном Герцена и в другом. Новые гонения окончательно убедили Герцена в том, что свободная общественная и литературная деятельность, к которой он стремился и к которой чувствовал призвание, невозможна в самодержавной России. У него возник план поездки за границу. В феврале 1841 года Герцен сообщил об этом Огареву.

Но Огарев не понял своего друга, решив, что за границей он ищет отдыха, рассеяния. В ответном письме Герцен вынужден был разъяснить: «Я поручил С<атину> растолковать вам, что я разумею и как разумею отъезд. Вы не поняли меня. Никто не говорил о праздной жизни — да и мог ли я, весь сотканный из деятельности, решиться жить сложа руки».

То, чего не понял Огарев, с самого начала было ясно Белинскому. Планы широкой общественно-литературной деятельности за границей, вне досягаемости царских жандармов, встретили его горячее одобрение: «Бел<инский> без восхищенья не может говорить о моем желании — он его схватил именно с той точки, с которой я хотел. A propos не странно ли, что он сделался моим партизаном».

Как конкретно представлялась Герцену его будущая деятельность, думал ли он уже тогда о создании за границей вольной русской прессы, — сказать трудно. Но чрезвычайно важно, что уже в начале 1840-х годов Герцен и Белинский обсуждали планы активной борьбы с самодержавием.

В своей жизни Герцену довелось встречаться со многими замечательными современниками. Огарев, Чаадаев, Бакунин, Белинский, Тургенев, Грановский, Щепкин, А. Иванов, Чернышевский, Толстой, Прудон, Мицкевич, Гарибальди — общение с каждым из этих выдающихся людей оставило неизгладимый след в сознании Герцена, отразилось в его произведениях, оказало влияние на его деятельность. Но если бы самому Герцену пришлось из всех встреч определить самые значительные, то он, несомненно, назвал бы две: встречу с Огаревым и встречу с Белинским.

«НИГДЕ Я НЕ ПРЕДАВАЛСЯ ТАК ЧАСТО, ТАК МНОГО СКОРБНЫМ МЫСЛЯМ...»



В ноябре 1840 года по Петербургу начали распространяться тревожные слухи: у Синего моста полицейский солдат-будочник ограбил и убил какого-то купца. Рассказывали, что при аресте он сознался в убийстве еще нескольких человек.

Событие взволновало весь город; о нем открыто говорили в лавках, чиновничьих канцеляриях, в театре.

Не придавая особого значения слуху, Герцен в письмах из Петербурга, наряду с другими новостями, сообщил о преступлении полицейского. «Теперь кричат о бенефисе Тальони, который будет на днях, — писал Герцен Ю. Ф. Курута, — на прошлой неделе кричали о том, <что> будочник у Синего моста зарезал и ограбил какого-то купца и, пойманный, повинился, что это уже шестое душегубство в этой будке». О том же он сообщил в письме к отцу.

По-видимому, это письмо было перлюстрировано и представлено Бенкендорфу. Шеф жандармов подал Николаю I докладную записку о распространении в столице вредных слухов. Одновременно петербургский

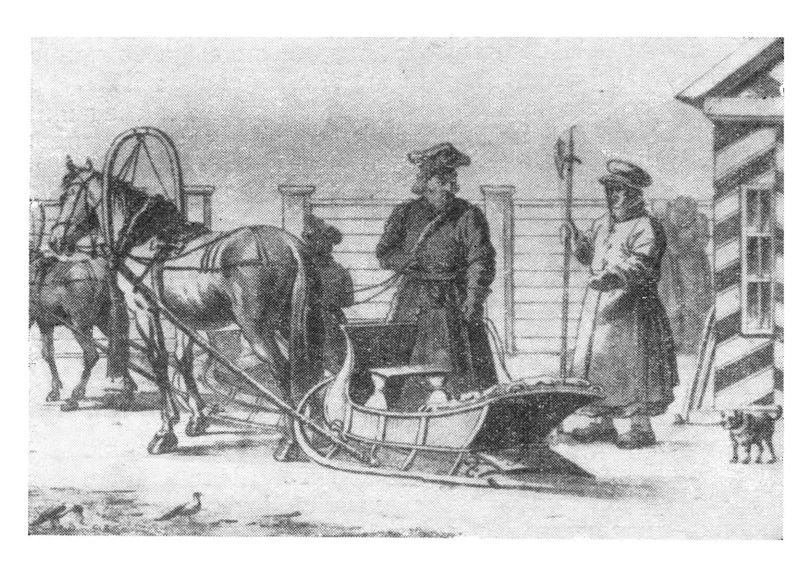
обер-полицмейстер получил предписание немедленно отыскать титулярного советника Александра Герцена и доставить его в III отделение. Но никаких сведений о «преступнике» не оказалось, и на розыски ушло целых два дня, хотя Герцен жил в самом центре города и служил в канцелярии министерства внутренних дел.

Наконец рано утром 7 декабря 1840 года в дом Герцена на Большой Морской явился полицейский надзиратель. Без всяких объяснений он протянул Герцену клочок бумаги, на котором было написано, что шеф жандармов приглашает его в III отделение собственной его императорского величества канцелярии.

«Появление полицейского в России равняется черепице, упавшей на голову...» — однажды заметил Герцен. Еще ни о чем не догадываясь, но предчувствуя беду, Герцен простился с женой. Наталья Александровна протянула ему маленького Сашу.

Скоро Герцен был доставлен к дому на Фонтанке близ церкви св. Пантелеймона, у Цепного моста. Миновав несколько дворов, вошли в один из флигелей, где с 1838 года помещалось III отделение.

Светская инквизиция, созданная Николаем I после подавления восстания 14 декабря 1825 года, обладала неограниченными полномочиями. «Высочайший» указ 3 июля 1826 года определял «занятия» нового отделения: «все распоряжения и известия по всем вообще вопросам высшей полиции», надзор за тюрьмами, «высылка и размещение людей подозрительных и вредных», наблюдения за иностранцами, собирание сведений о русских, находящихся за границей, отношения между супругами, родителями и детьми и т. д. С апреля 1828 года в ведение канцелярии была передана театральная цензура. По существу, III отделение



Извозчик и будочник. Литография 1820-х гг.

контролировало все сферы политической, хозяйственной, общественной и частной жизни.

...Герцена провели в кабинет. За большим столом сидел человек со зловещим лицом. По важному виду и звезде на груди Герцен заключил, что перед ним какой-то «корпусный командир шпионов». Он не ошибся. это был А. А. Сагтынский, ближайший помощник управляющего III отделением Дубельта. Сагтынскому в это время было 52 года, но выглядел он глубоким стариком. Он начал службу в 1810 году в Валахии, затем служил в Германии и в Польше. С ноября 1832 года Сагтынский — чиновник особых поручений при

шефе жандармов, а в январе 1834 года причислен к III отделению.

Сагтынскому поручались самые важные политические дела. Через его руки в 1848 году прошли дела петрашевцев. В 1850 году он был членом комиссии по делу Н. П. Огарева, Н. М. Сатина, А. А. Тучкова, обвинявшихся в принадлежности к «коммунистической секте».

После нескольких вопросов Сагтынский наконец объявил, что Герцен обвиняется в распространении антиправительственных слухов и по приказу Николая I возвращается под надзор полиции в Вятку. Вытащив из кучи бумаг, лежавших на столе, какой-то документ, он подал его Герцену. «Я читал и не верил своим глазам: такое полнейшее отсутствие справедливости, такое наглое, бесстыдное беззаконие удивило даже в России». Герцен не пояснил, какой именно документ, состряпанный в III отделении, пришлось ему прочесть. По-видимому, это была докладная записка Бенкендорфа с резолюцией Николая.

Вопреки логике, здравому смыслу, не говоря уже о нарушении всяких законов, власти осудили и приговорили Герцена, не только не допросив, но даже хорошенько не зная, существует ли такой человек.

«Я бросился домой. Разъедающая злоба кипела в моем сердце, — писал Герцен в «Былом и думах», — это чувство бесправия, бессилия, это положение пойманного зверя, над которым презрительный уличный мальчишка издевается, понимая, что всей силы тигра недостаточно, чтоб сломить решетку».

Герцену пришлось побывать в III отделении еще дважды — в тот же день по вызову Дубельта, и назавтра — по требованию Бенкендорфа.

За это время о Герцене наспех были собраны кой-какие сведения, наведены справки. Но их было смехотворно мало. Дубельт искренне удивился, когда увидел на Герцене вицмундирный фрак с пуговицами. Всезнающий и всесильный управляющий III отделением и понятия не имел о том, что человек, которого он высылает из Петербурга, служит в канцелярии министра внутренних дел. Но накануне Дубельт говорил о Герцене с Жуковским и получил от него самый благожелательный отзыв. «...Дай бог, чтоб об моих сыновьях так отзывались, как он отозвался»,— сказал Дубельт. Заступничество Жуковского во многом решило дело, и управляющий III отделением обещал переговорить с Бенкендорфом, чтобы ссылка в Вятку была заменена каким-либо другим городом. После ухода Герцена Дубельт написал «записку для памяти»: «Тит. сов. Герцен служит в канцелярии мин. вн. дел. Он просит прощения, а ежели не удостоится оного, то испрашивает милости быть отправлену на службу в Новороссийский край или в Малороссию. У него жена беременна последнее время». Когда назавтра утром Герцен явился в III отделение, Бенкендорф объявил ему «высочайшую» волю: въезд в Москву и Петербург запрещен, а место ссылки предоставлено определить министру внутренних дел.

В III отделении Герцен не скрывал, что действительно рассказывал о преступлении будочника, да еще с «рассуждениями». Но он решительно отказывался верить, что повторение слуха, о котором говорил весь город,— единственная причина обрушившихся на него гонений. Дубельту Герцен заявил: «...я не могу себе представить, чтобы меня выслали только за то, что я повторил уличный слух, который, конечно, вы слышали прежде меня, а может, точно так же рассказыва-

ли, как я». Столь же решительно Герцен повторил это в разговоре с Бенкендорфом.

По-видимому, кроме перлюстрированного письма, существовала еще другая причина его высылки. Какая же? Вчитываясь в текст «Былого и дум», можно предположить, что это был поступивший на Герцена донос. Намек на это слышался в словах Сагтынского, с которыми он обрушился на Герцена: «Что за связи, что за занятия? Вместо того чтоб первое время показать усердие, смыть пятна, оставшиеся от юношеских заблуждений, обратить свои способности на пользу, — нет! куда! Все политика да пересуды, и все во вред правительству. Вот и договорились. Как вас опыт не научил? Почем вы знаете, что в числе тех, которые с вами толкуют, нет всякий раз какого-нибудь *мерзавца*, который лучше не просит, как через минуту прийти *сюда* с доносом». К этому месту Герцен сделал примечание: «Я честным словом уверяю, что слово «мерзавец» было употреблено почтенным старцем».

Нельзя не обратить внимания на то, что на допросе у Сагтынского речь шла не о письме, а только о разговорах и «рассуждениях» Герцена по поводу преступления будочника. Версия с письмом возникла позже, во время встречи с Дубельтом. Но и он сначала разразился тирадой о том, что «люди, остающиеся в какой-то бесплодной оппозиции, несмотря на тяжелые испытания, стращают общественное мнение, рассказывая и сообщая письменно, что полицейские солдаты режут людей на улицах». И только потом он спросил у Герцена, писал ли он об этом.

Примечательно и другое место в «Былом и думах»: «Сахтынский не знал, что я женат, Дубельт не знал, что я на службе, а оба знали, что́ я говорил в своей комнате...»

В декабре, уже после вынесения приговора, Герцен отправил Бенкендорфу письмо, в котором просил выхлопотать разрешение служить в Москве. При этом он писал: «...я клятвенно должен повторить, что совесть моя чиста, я пересказал в семейном кругу слышанную новость, и пересказал ее как слышал...»

Слова, произнесенные «в своей комнате», «в семейном кругу», могли стать известны полиции только по доносу. Что касается перлюстрированного письма, то оно могло явиться лишь документальным подтверждением политической неблагонадежности Герцена.

До тех пор пока не будут обнаружены новые материалы, в том числе и неизвестное нам письмо Герцена к отцу, нельзя с полной уверенностью утверждать, что дело обстояло именно так. Но такое предположение представляется весьма вероятным.

...От Бенкендорфа Герцен поехал к министру внутренних дел. Граф Строганов в отместку тайной полиции, с которой он враждовал, предоставил Герцену самому решить, где он будет служить. Герцен назвал Тверь или Новгород. Через неделю министр внутренних дел представил дело в Сенат о назначении его советником губернского правления в Новгород. «А ведь пресмешно, — писал Герцен, — сколько секретарей, асессоров, уездных и губернских чиновников домогались, долго, страстно, упорно домогались, чтоб получить это место; взятки были даны, святейшие обещания получены, — и вдруг министр, исполняя высочайшую волю и в то же время делая отместку тайной полиции, *наказывал* меня этим повышением, бросал человеку под ноги, для позолоты пилюли, это место — предмет пламенных желаний и самолюбивых грез, — человеку, который его брал с твердым намерением бросить при первой возможности».

Герцен сделал несколько попыток изменить решение о ссылке. 8 декабря он отправил письмо Бенкендорфу. В тот же день он был у О. А. Жеребцовой. «Господи, какие глупости, от часу не легче, — заметила она... — Как это можно с фамилией тащиться в ссылку из таких пустяков! Дайте я переговорю с Орловым...» Но и Жеребцова, несмотря на все свое влияние, ничего не смогла сделать. Она посоветовала добиваться разрешения поехать в Одессу — «подальше от них, и город почти иностранный». По-видимому, в доме Жеребцовой Герцен познакомился с новороссийским губернатором Воронцовым, находившимся тогда в Петербурге. Но надежды не оправдались: Воронцов согласился взять Герцена в Одессу, если будет получено разрешение Бенкендорфа. «Мне очень хотелось в Одессу — самый новый город в России, меня перевели в Новгород — самый старый город», — писал Герцен 17 января 1841 года.

Вызов в III отделение и предстоящая ссылка заставили Герцена тяжело страдать. Эти несколько дней стоили ему многих лет жизни. «...Я в самом деле состарился, я ежегодно проживаю лет пять...» — признавался Герцен в письме к Ю. Ф. Курута.

Еще тяжелее переживания отразились на Наталье Александровне. После преждевременно наступивших родов она тяжело заболела, а ребенок вскоре умер. «Контузией № 2» назвал Герцен пережитые потрясения.

Он не сломился, не пал духом. Наоборот, никогда раньше Герцен так остро не чувствовал ненависти к царскому деспотизму, ко всему самодержавно-полицейскому государству, во главе которого стояли дубельты, бенкендорфы и сам «будочник будочников» — Николай I.

Огарев, узнав о предстоящей ссылке Герцена и стремясь утешить его, писал: «Не ты первый, не ты и последний. Частный случай не может навести уныние за общее». В словах друга Герцен почувствовал покорность судьбе, смирение, проповедь «ложной монашеской теории пассивности». Сам он решительно отказывался видеть в этом акте произвола властей «частный случай». Герцен отвечал Огареву: «Христиане истинные могли смотреть равнодушно на все, что с ними делали, для них жизнь была дурная станция на дороге в царство божие, где наградятся труды. Мы на жизнь не так смотрим, мы слишком шатки в вере, в нас будет слабостью, что у них сила. В этом отношении нам, может, скорее идет гордый, непреклонный стоицизм, нежели кроткое прощение действительности, индульгенция всем пакостям ее. И именно случай, о котором идет речь, принадлежит к пакостям, превышающим всякую меру...»

Власти не торопились с высылкой Герцена. Шло время, но никто не напоминал ему об отъезде. Уж не отменен ли приказ Николая I? Неожиданная встреча рассеяла эти иллюзии.

3 марта 1841 года из Москвы в Петербург приехал бывший вологодский губернатор генерал-лейтенант Дмитрий Николаевич Бологовский. Это был старый сослуживец И. А. Яковлева и один из его ближайших друзей. Незадолго до этого Бологовский был назначен в Сенат и явился в столицу к месту службы (указ о его назначении датирован 30 декабря 1840 года).

Он остановился в доме А. И. Косиковского, на углу Невского проспекта и Большой Морской (ныне улица Герцена, 14). Великолепный, украшенный стройной колоннадой дом Косиковского был хорошо известен петербуржцам. Предприимчивый хозяин (ему принадле-

жали и два смежных дома — по Невскому проспекту и по набережной Мойки) охотно сдавал помещения в наем. В 1828 году здесь снимал квартиру А. С. Грибоедов перед отъездом в Персию. В 1830-е годы в «доме с колоннами» устраивались театральные представления, выступал хор цыган, помещались книжные магазины и лавки торговцев.

В «доме с колоннами» и произошла встреча Герцена с Бологовским. Генерал передал привезенные из Москвы письма, в том числе и письмо от Огарева. Бологовский знал о предстоящей ссылке Герцена и мог дать полезный совет.

Он был человеком опытным, бывалым. Молодым прапорщиком лейб-гвардии Измайловского полка Бологовский участвовал в убийстве Павла I. В 1812 году состоял секретарем комиссии для составления военного уложения, был замешан в деле Сперанского и выслан из Петербурга. С начала Отечественной войны Бологовский снова на службе — находился при Кутузове, участвовал в сражениях под Бородином, Малоярославцем, при Лейпциге, Магдебурге, Гамбурге. В 1820-х годах он (уже генерал-майор) командовал бригадой, входившей в состав дивизии декабриста М. Ф. Орлова. В Кишиневе с ним сблизился Пушкин. В дневнике поэта есть запись о том, что Бологовский читал ему свои записки. «...Я видел такие вещи, о которых никто и понятия не имеет», — говорил Бологовский.

Герцен хорошо знал генерала. «Он довольно любил меня, и я бывал у него иногда», — писал Герцен.

Об одной из таких встреч в Петербурге он рассказывал: «Раз весною прихожу я к нему; спиною к дверям в больших креслах сидел какой-то генерал, мне не было видно его лица, а только один серебряный эполет.

— Позвольте мне представить, — сказал Бологовский, и тут я разглядел Дубельта.

— Я давно имею удовольствие пользоваться вниманием Леонтия Васильевича, — сказал я, улыбаясь.

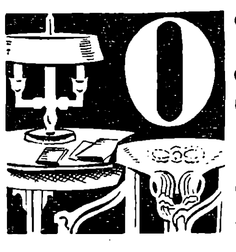
— Вы скоро едете в Новгород? — спросил он меня.

— Я полагал, что мне надобно у вас спросить об этом.

— Ах, помилуйте, я совсем не думал напоминать вам, я вас просто так спросил. Мы вас передали с рук на руки графу Строгонову и не очень торопим, как видите; сверх того, такая законная причина, как болезнь вашей супруги... (Учтивейший в мире человек!)».

После этой встречи Герцен оставался в Петербурге еще три с лишним месяца.

«ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ ЛИТЕРАТУРНО-ЖИЗНЕННЫЕ...»



Осенние месяцы 1840 года и половина следующего — до отъезда в новгородскую ссылку 30 июня 1841 года — были заняты чтением, напряженной творческой работой.

Русская литература в эти годы обогатилась рядом выдающихся произведений. Еще в апреле — мае 1840 года в «Литературной газете» и в «Северной пчеле» Герцен мог прочесть извещения о выходе отдельным изданием романа Лермонтова «Герой нашего времени». В октябре в Петербурге вышли «Стихотворения» Лермонтова. В том же году всей России стало известно имя нового большого поэта — Тараса Шевченко. Его первый сборник «Кобзарь», включавший девять стихотворений, произвел сильнейшее впечатление в широких кругах читающей публики. Одно за другим в столичных журналах печатаются произведения В. А. Соллогуба, В. Ф. Одоевского, П. Н. Кудрявцева, В. И. Даля. В 1841 году вторым изданием вышли комедия Гоголя «Ревизор» и «Герой нашего времени» Лермонтова. Одновременно было завершено первое посмертное собрание сочинений Пушкина. В трех

последних томах увидели свет произведения, не печатавшиеся при жизни поэта.

Пушкин, Лермонтов, Гоголь закладывали основы критического реализма. В конце 1830-х — начале 1840-х годов в произведениях передовых писателей появились признаки того направления, которое несколько позже получило название «натуральной школы». Верность жизненной правде, демократизм, критическое отношение к существующей действительности — отличительные черты нового направления, идейным руководителем и организатором которого был Белинский.

Передовой русской литературе противостояли писатели консервативного лагеря — Н. А. Полевой, Н. В. Кукольник, О. И. Сенковский, реакционная журналистика.

В 1832 году Николай I запретил без «высочайшего» разрешения издавать новые журналы. «И без нового довольно» — типичная резолюция царя на многочисленных прошениях, подававшихся в Главное управление цензуры. Лишь для двух изданий было сделано исключение. В 1840 году начал выходить «Маяк современного просвещения и образованности» — орган воинствующей реакции и мракобесия. В сентябре того же года Герцен мог прочитать извещение о предстоящем издании другого журнала — «Москвитянин». Его редактор и издатель, профессор истории Московского университета М. П. Погодин, проповедовал идеи официальной народности. Органом «сухопутного православия» назвал Герцен «Москвитянин», в отличие от «Маяка» — журнала «морского православия».

В Петербурге Герцен сближается с писателями, группировавшимися вокруг «Отечественных записок». По-видимому, через Белинского Герцен познакомился с Владимиром Федоровичем Одоевским, известным пи-

сателем, страстным любителем музыки, одним из создателей «Отечественных записок». Не без его участия в 1839 году к сотрудничеству в журнале был привлечен Белинский.

Одоевский жил на набережной Фонтанки, у Аничкова моста (ныне дом № 35). Раз в неделю здесь устраивались литературно-музыкальные вечера. Одоевский, как об этом сообщают многие современники, стремился сблизить светское общество с литературой. У него на вечерах можно было встретить начинающего писателя и высокопоставленного чиновника, художников, ученых, музыкантов и представителей светской знати. В доме Одоевского бывали Крылов, Жуковский, Вяземский, Соллогуб, Лермонтов, Григорович, Панаев. Иногда на литературные вечера являлся Белинский.

Мемуаристы называют имена более пятидесяти выдающихся современников, посещавших салон Одоевского. Имени Герцена среди них нет. В письмах Герцена также не упоминается о посещениях Одоевского. И все-таки они были знакомы. Рассказывая в «Былом и думах» о жизни Белинского в Петербурге, Герцен писал о вечерах князя Одоевского, где «толпились люди, ничего не имевшие общего, кроме некоторого страха и отвращения друг от друга» и где Белинский «был совершенно потерян... между каким-нибудь саксонским посланником, не понимавшим ни слова по-русски, и каким-нибудь чиновником III отделения, понимавшим даже те слова, которые умалчивались». Герцен называет и некоторых посетителей салона. Эта характеристика «литературно-дипломатических вечеров» князя Одоевского не оставляет сомнений в том, что в основе ее лежат личные впечатления.

Имеется и документальное свидетельство их знакомства. В отделе рукописей Государственной

Публичной библиотеки в Ленинграде сохранилась адресованная Одоевскому записка. Ее автор Б. А. Враский, свойственник Одоевского, служивший в III отделении и одновременно занимавшийся различными коммерческими предприятиями (он был владельцем типографии, где печатался «Современник»). На правах пайщика и акционера «Отечественных записок» Враский вмешивался в дела редакции.

Белинский в письме к Боткину в апреле 1840 года характеризует Враского как морально нечистоплотного человека.

«Не знаете ли вы, где живет Герцен, — писал Враский Одоевскому, — попросите его, чтобы он пришел в III отделение — нужно ему что-то сказать. Если вы не знаете, то Краевский знает».

При каких обстоятельствах произошло знакомство с Враским, что он хотел сообщить Герцену — все это еще неясно и нуждается в изучении. На записке не проставлена дата, но с полным основанием ее можно датировать тем временем, когда Герцен жил в Петербурге и виделся с Одоевским.

Герцен находился в гуще литературной жизни, следил за русской и иностранной периодикой. Петербургские письма и записи в так называемой «Вятской тетради», куда Герцен переписывал свои произведения и делал выписки из русских и западноевропейских авторов, свидетельствуют о широте его литературных и научных интересов. Статьи Белинского в «Отечественных записках», произведения Пушкина, Лермонтова, Жуковского, Панаева, Одоевского, Соллогуба, Шекспира, Гете, Гофмана, трактат Мартина Лютера «О порабощенной воле» (в переводе и изложении Ж. Мишле), «Мысли» французского философа Блэза Паскаля, знакомые с детства воспоминания Лас-Каза о Наполеоне,

труды русских и зарубежных историков — таков круг чтения Герцена в Петербурге.

В этой кажущейся пестроте имен и названий имелось определенное единство. Герцен разработал строгую программу занятий. На первом плане — философия Гегеля, затем история, особенно история России петровского времени, и, наконец, создание книги для детей по всеобщей истории. Программа, как полагал Герцен, не отличалась широтой: он сознательно ограничивал свои планы, опасаясь блужданий, неопределенности целей, — от чего не могли избавиться ни Сатин, ни Огарев. «Я радуюсь, что цели ограниченные, — писал Герцен Огареву, — пора перестать блуждать по морю по океану».

Но эти «ограниченные» цели включали изучение Гегеля, с именем которого связана целая эпоха в истории философской мысли.

Герцен начал с «Феноменологии духа», сочинения, которое, по словам Маркса, является источником и тайной гегелевской философии. Шаг за шагом, преодолевая трудности изложения, Герцен постигает сущность его диалектического метода.

Характеризуя идейное развитие Герцена, В. И. Ленин писал: «В крепостной России 40-х годов XIX века он сумел подняться на такую высоту, что встал в уровень с величайшими мыслителями своего времени. Он усвоил диалектику Гегеля. Он понял, что она представляет из себя «алгебру революции». Он пошел дальше Гегеля, к материализму, вслед за Фейербахом».

Наряду с философией и в связи с ней Герцен обращается к истории. Особенно его привлекает эпоха Петра I. В истории петровских преобразований Герцен ищет ответа на волновавшие его вопросы современной жизни — о положении народных масс, об отношении

между Россией и Западом, о путях дальнейшего развития России.

Еще в начале 1833 года Герцен-студент написал статью «Двадцать осьмое января», озаглавленную по дате смерти Петра I. По определению Герцена, Петр I «задал себе задачу перенесть европеизм в Россию и на разрешение ее посвятил жизнь». Осуществление этой задачи, считал Герцен, отвечало коренным интересам России, было исторически обусловлено и необходимо. «Искры европеизма» проникали в Россию и в допетровское время, «Россия двинулась бы вперед» и без Петра. Но только он силой своего гения сумел двинуть страну по пути прогресса.

Герцен считал, что реформы Петра I имели для России такое же значение, как реформация для Германии и буржуазная революция конца XVIII века для Франции. Но в России, отмечает Герцен, «целый переворот, кровавый и ужасный, заменился гением одного человека». В этом утверждении сказалось преувеличенное представление Герцена о значении петровских преобразований и идеализация личности самого Петра.

Герцен полагал, что ни один из великих деятелей прошлого — ни Александр Македонский, ни Юлий Цезарь, ни Карл Великий — не был столь самобытен и не имел того значения для своей страны, как Петр для России. И несмотря на это, считал Герцен, его заслуги до конца не осознаны и не оценены. «Не поражало ли каждого из нас равнодушие России к Петру?» — восклицал Герцен. Памятник в Петербурге, на котором Екатерина II, немецкая принцесса на русском троне, велела высечь латинские слова «Petro primo, Catharina secunda», и другой памятник с подписью «Прадеду правнук» — он называл «делом семейным». «Но где же тут Россия?» — спрашивал Герцен.

Он собирался написать вторую статью, которая должна была ответить на вопрос: «Что сделала Россия от Петра до наших дней». Этот замысел остался неосуществленным.

Жизнь в городе, основанном Петром I, обострила интерес Герцена к истории петровского времени. Он полагал, что только в Петербурге в полной мере можно осмыслить значение реформ Петра I и понять современность. Об этом он писал Кетчеру, приглашая его приехать в Петербург: «...ты увидишь и узнаешь, что такое Петр I... кто не был здесь, не знает современной Руси».

У Герцена возник замысел «Писем о петровском периоде» — произведения, в котором он хотел философски осмыслить историю России в эпоху Петра I и в послепетровское время.

Герцен обращается к историческим источникам, штудирует многотомный труд И. И. Голикова «Деяния Петра Великого». Огромный интерес представляла для него вышедшая в 1840 году книга Котошихина (Кошихина) «О России в царствование Алексея Михайловича». Автор книги — подьячий Посольского приказа, бежавший в Швецию. Хорошо знакомый со всеми сторонами жизни Московского государства, Котошихин сообщает в своей книге массу ценных сведений. Характерны названия глав: «О царях, о царицах, о царевичах, о царевнах» «О царских чиновных и всяких служивых людях», «О московских послах и посланниках», «О воинских сборах», «О житии бояр» и другие.

Книга Котошихина надолго осталась в памяти Герцена. Он неоднократно писал о «кошихинских временах» и «кошихинских разоблачениях» общественного быта допетровской Руси.

Герцен, безусловно, прочел все, что было написано о Петре I Ломоносовым, Карамзиным, Сперанским, Погодиным. По-видимому, он был знаком с «Историей Российской империи при Петре Великом» Вольтера, с оценками Петра I в «Духе законов» Монтескье и в произведениях других западноевропейских мыслителей, историков, публицистов.

У Герцена складывается оригинальная концепция исторического развития России. «Нами заключается петровское время, — писал Герцен, — мы, выходящие из национальности в чисто европейскую форму и сущность, заканчиваем великое дело очеловечения Руси, но после нашего времени начнется период органического, субстанционального развития, и притом чисто человеческого, для Руси. Тогда ее роль будет не отрицательная в судьбе Европы (преграда Наполеону, например), а положительная. Положение наше относительно Европы и России странно, une fausse position[1], но оно лежало в идее петровской революции, и вся крутость и скорбность ее была необходима, этими скорбями искупается десятивековое отчуждение от человечества».

Замысел «Писем о петровском периоде» остался неосуществленным, и оценку деятельности Петра I Герцен дал позже — в очерке «Москва и Петербург», в статье «Россия» и в книге «О развитии революционных идей в России».

От петровских времен мысль Герцена устремляется в глубь веков — к истории Франции VI века. Герцен находит что-то «родственное» между эпохой Меровингов и Россией XVII века. К этому наблюдению он пришел, познакомившись с вышедшим в 1840 году двух-

---

[1] Ложное положение *(франц.)*.

РАЗСКАЗЫ О ВРЕМЕНАХЪ МЕРОВИНГСКИХЪ.

Статья первая.

Известность Огюстена Тьерри, столь справедливо заслуженная новымъ его взглядомъ на событія французской исторіи и увлекательнымъ разсказомъ самыхъ событій, давно дошла до насъ; но на этомъ поверхностномъ знакомствѣ мы и остановились; ни одно сочиненіе Огюстена Тьерри не переведено еще на русскій языкъ. Положимъ, что его «Письма объ Исторіи Франціи», его «Десятилетніе историческіе труды» для нашей публики слишкомъ спеціальны и отчасти лишены интереса, потому что обсуживаютъ и разрѣшаютъ вопросы, невозникавшіе въ ней и къ которымъ она равнодушна; но его «Завоеваніе Англіи Норманнами» и «Разсказы о Временахъ Меровингскихъ», изданные въ прошломъ году, — великія, обширныя эпопеи, въ которыхъ событія и индивидуальности воссоздаются съ какой-то художественной рельефностію; въ которыхъ давнопрошедшіе вѣка выходятъ изъ могилы, стряхаютъ съ себя пыль и прахъ, обростаютъ плотію и снова живутъ передъ нашими глазами; эти эпопеи имѣютъ интересъ общій какъ художественныя реставраціи Вальтера Скотта, какъ мрачные портреты Тацита. Желая передать въ «Отечественныхъ Запискахъ» нѣсколько разсказовъ о Меровингахъ, мы обращаемъ вниманіе читателей на мѣсто повѣствовательный характеръ историческихъ сочиненій Огюстена Тьерри; — въ этомъ тайна его чрезвычайнаго успѣха, въ этомъ свидѣтельство его яснаго сознанія французскаго духа, и его симпатія съ нимъ; онъ остался вѣренъ ему, не смотря на общее увлеченіе молодой школы къ теоретическимъ мудрованіямъ въ исторіи, онъ писалъ *разсказы*, а не философствованія по поводу исторіи (какъ, на-примѣръ, Мишле). Истинная, единая философія, философія наука не дается еще Французамъ, а эклектизмъ Кузена — такъ же мало философія, какъ пространное опроверженіе его, напечатанное, можетъ быть, сильнѣйшей спекулятивной головой, какая теперь есть на лицо во Франціи, Пьеромъ Леру (*). Гдѣ нѣтъ философіи какъ науки, тамъ не можетъ быть и твердой, послѣдовательной философіи исторіи, какъ бы ярки и блестящи ни были отдѣльныя мнѣнія, высказанныя тѣмъ или другимъ (**).

(*) Refutation de l'éclectisme, où se trouve exposée *la vraie définition* de la philosophie etc. par P. Leroux. 1839. Paris.

(**) На-примѣръ, множество чрезвычайно-важныхъ и глубокихъ мыслей у Leroux; въ статьяхъ въ «Новой Энциклопедіи», изданной Леру, въ прежнемъ Revue Encyclopédique и въ многихъ другихъ сочиненіяхъ.

Т. XIV. — Отд. II.

Статья А. И. Герцена «Рассказы о временах меровингских», напечатанная в журнале «Отечественные записки» (1841, № 2).

томным трудом французского историка Огюстена Тьерри «Рассказы о временах меровингских». Пяти «Рассказам...», составляющим книгу, Тьерри предпослал обширное введение, в котором развивал свои взгляды на историю Франции.

Тьерри принадлежал к плеяде историков эпохи Реставрации (Ф. Гизо, Ф. Минье), рассматривавших образование буржуазного общества как историю борьбы «третьего сословия» против дворянства. Исходным пунктом исторического развития Франции Тьерри считал завоевание ее пришельцами-варварами. Потомки победителей и побежденных со временем образовали два основных класса — дворянство и буржуазию. Верно указывая на классовую борьбу между ними, Тьерри в то же время отрицал классовый антагонизм внутри «третьего сословия» — между буржуазией и пролетариатом.

С историческими взглядами Тьерри Герцен познакомился еще в начале 1830-х годов. Об этом свидетельствует статья «Двадцать осьмое января», в которой Герцен, ссылаясь на Гизо и Тьерри, писал о классовой борьбе («оппозиции», по его терминологии) как основе исторического развития Европы. Однако в отличие от Тьерри Герцен видел борьбу не только дворянства с буржуазией, но и «собственников с неимущими». Новый труд французского историка привлек Герцена и художественно воспроизведенными картинами эпохи, и возможностью пропаганды исторических взглядов Тьерри среди широкой публики.

В конце 1840 года Герцен приступил к переводу «Рассказов» Тьерри на русский язык. Об этом 14 декабря 1840 года Белинский писал Боткину: «Насчет исторических статей взяты меры, — и Герцен уже переводит из книги Тьерри о Меровингах и будет обра-

батывать другие вещи в этом роде. Его живая, деятельная и практическая натура в высшей степени способна на это».

Перевод первого «Рассказа» с предисловием Герцена появился в «Отечественных записках» в феврале 1841 года. Герцен характеризует труды О. Тьерри, как «великие, обширные эпопеи», имеющие общий интерес. Нарисованные историком картины нравов феодальной Франции VI века Герцен ставит в один ряд с «художественными реставрациями» Вальтера Скотта и портретами современников у Тацита. Близость «Рассказов» Тьерри к художественной манере В. Скотта отметил и Белинский. Уже после того как перевод был напечатан в журнале, Белинский писал Боткину: «...из истории Меровингов Тьерри — что глава из исторического романа Вальтера Скотта».

В своем предисловии Герцен обращает внимание читателя на чисто повествовательный характер сочинения Тьерри. Опираясь на многочисленные источники, нигде не погрешив против исторической правды, Тьерри силой воображения «домыслил» то, чего не было ни в одном источнике, — нравственный облик народа.

В результате французским историком был создан труд, стоящий на грани между научным исследованием и художественным произведением. Этим, по мнению Герцена, книга Тьерри выгодно отличается от «сухих компиляций», перегруженных выписками и многочисленными подробностями, с одной стороны, и «философствованиями по поводу истории» — с другой.

Герцену было понятно и близко стремление Тьерри на материале истории разобраться в современности — «уяснить себе тяжкие вопросы о новой Франции».

Яркими штрихами Герцен рисует самую личность Тьерри, энтузиаста науки, считавшего ее интересы величайшими национальными интересами.

Широкую известность О. Тьерри Герцен объясняет «новым его взглядом» на события французской истории. Однако он нигде не упоминает об «открытой» историком классовой борьбе. В предцензурной печати Герцен не мог касаться вопросов, так или иначе связанных с борьбой «низших» и «высших» классов. В этом он убедился еще во время своего ареста в 1834 году. Следственную комиссию насторожило упоминавшееся в статье «Двадцать осьмое января» слово «оппозиция», и от Герцена потребовали объяснений: «...видна какая-то привязанность Ваша к оппозиции и желание, чтобы оппозиция существовала в России. Для чего Вы это писали?» В своем ответе Герцен сослался на Тьерри и Гизо и изложил сущность их взглядов.

Интересно, что в предисловии к своему переводу Герцен ссылается на издания, запрещенные цензурой. Он находит «множество чрезвычайно верных и глубоких мыслей» в «Новой энциклопедии» и «Энциклопедическом обозрении», издававшихся Пьером Леру. Эти журналы в России неоднократно подвергались запрещению.

Изучение философии Гегеля, статья об О. Тьерри и перевод его «Рассказов...», замысел философских «Писем о петровском периоде» свидетельствовали о неустанных поисках Герценом научно обоснованной теории, способной объяснить закономерности исторического процесса, наметить пути к будущему. Мысли, к которым пришел Герцен в Петербурге, были развиты впоследствии в книге «О развитии революционных идей в России» и в других его произведениях.

Петербургскими впечатлениями навеяна еще одна статья Герцена — о Витберге и его проекте храма-монумента.

Статья не сохранилась, и ничего не было бы известно об этой работе Герцена, если бы не одна строчка в его письме к В. В. Пассеку от 23 января 1841 года: «Статья о Витберговом храме готова, да хочется у себя оставить копию».

Можно предположить, что статья предназначалась для издаваемых Пассеком сборников «Очерки России». Характер издания — описание русских древностей, церквей, монастырей, соборов, кремлей, достопримечательностей Крыма, Кавказа, Сибири и пр., без какого бы то ни было научного обобщения — был в целом неприемлем для Герцена. И он не скрывал этого. Но, очевидно, во время встречи с Пассеком в Петербурге в октябре 1840 года Герцен согласился дать статью о проекте Витберга.

Мотивы, побудившие Герцена взяться за перо, понятны. Он стремился привлечь внимание к судьбе Витберга, возвращенного из ссылки, но неоправданного, напомнить русскому обществу о выдающемся архитектурном замысле. В этом Герцен видел свой долг и свое право. Никто из современников так близко не знал Витберга в самую тяжелую пору его жизни; никто так глубоко, как Герцен, не мог постичь смысла его проекта.

Герцен называл созданный Витбергом проект «колоссальным», «исполненным религиозной фантазии», «гениальным», «страшным», «безумным». Он мог произвести такое впечатление и оригинальностью замысла, и гигантскими размерами. Впечатление от проекта было настолько сильно, что много лет спустя в «Былом и думах» Герцен сумел по памяти поразительно точно

передать не только основную мысль, но и многие детали проекта.

В своей статье Герцен, разумеется, не мог говорить о том, что его больше всего возмущало, — об интригах, которые плелись вокруг Витберга, об обстоятельствах десятилетнего судебного процесса, в котором столкнулись интересы соперничавших политических групп и влиятельных лиц, о ссылке художника и его бедственном положении. Но независимо от этого статья Герцена должна была приобрести определенный политический смысл. Чтобы понять это, необходимо учесть те обстоятельства, при которых она создавалась.

Было ясно, что после veto, наложенного царем, проект Витберга не мог быть возрожден. Уже в середине 1830-х годов по поручению Николая I архитектором К. А. Тоном был разработан другой проект храма Христа Спасителя. Несмотря на очевидное несовершенство, новый проект был одобрен Николаем и в сентябре 1839 года под Москвой состоялась закладка храма. Герцен, присутствовавший на торжественной церемонии, назвал ее «похоронами Витберговой славы, колыбелью известности Тона». Почти одновременно К. А. Тон, пользовавшийся особым расположением Николая I, издал альбом чертежей — типовых проектов церквей в «истинно русско-византийском стиле». Проекты Тона представляли собой механически сочлененные компоненты византийского, романского и древнерусского зодчества. В марте 1841 года специальным указом Николай I предписал, чтобы при проектировании и постройке церковных зданий архитекторы руководствовались проектами Тона. Созданный таким образом стиль был официально признан.

В этих условиях хвалебная статья о Витберге умаляла «высочайше» одобренные проекты Тона и зву-

чала бы как прямое осуждение Николая I, погубившего Витберга.

Отправил ли Герцен статью Пассеку, была ли она представлена в цензуру — остается неизвестным. Хочется думать, что статья не исчезла бесследно и рано или поздно будет обнаружена.

В то время, когда Герцен работал над статьей о Витберге, в «Отечественных записках» была напечатана первая часть его автобиографии «Записки одного молодого человека». Это было первое художественное произведение Герцена, появившееся в печати. Вторая часть «Записок одного молодого человека» увидела свет в августе 1841 года, когда Герцен находился уже в новгородской ссылке.

В «Записках одного молодого человека» Герцен рисует свое детство и юность — первые проблески сознательного отношения к окружающему, воспитание и воспитателей, рассказывает о горячей симпатии к Шиллеру и его героям, о ссылке в Вятку.

Обо многом Герцен был вынужден умолчать, многого коснуться вскользь. Восстание декабристов 1825 года, сочувствие к казненным, интерес к террористическим идеям своего учителя Бушо, знаменитая клятва Герцена и Огарева на Воробьевых горах в Москве — все это, разумеется, осталось за пределами автобиографии.

«Записки одного молодого человека» были завершены еще до приезда в столицу. Но журнальная редакция произведения создавалась в Петербурге в 1840—1841 годах. В опубликованном тексте «Записок» (автограф не сохранился) обнаруживается немало вставок, сделанных во время подготовки рукописи к печати. Герцен ввел отрывок из стихотворения Огарева «Старый дом», написанного в 1840 году. По цензурным

ЕЩЕ ИЗЪ ЗАПИСОКЪ ОДНОГО МОЛОДАГО ЧЕЛОВѢКА.

—

ОТЪ НАШЕДШАГО ТЕТРАДЬ.

Помѣстивъ отрывокъ изъ первой тетради «Записокъ одного Молодаго Человѣка» въ XIII томѣ «Отеч. Записокъ» (кн. 12, 1840), мы объяснили въ приличномъ «междусловіи», какъ намъ досталась тетрадь и какъ не достались нѣкоторые листы изъ нея. Теперь пришло намъ на мысль помѣстить отрывокъ изъ второй тетради. Между первой и второй тетрадями потеряны годы, версты, лести. Мы разстались съ молодымъ человѣкомъ у Дорогомиловскаго Моста на Москвѣ-рѣкѣ, а встрѣчаемся на берегу Оки-рѣки, да притомъ вовсе безъ моста. Тогда молодой человѣкъ шелъ въ университетъ, а теперь ѣдетъ въ городъ Малиновъ, худшій городъ въ мірѣ, ибо ничего нельзя хуже представить для города, какъ совершенное несуществованіе его. *Молодой человѣкъ дѣлается просто* «человѣкомъ» (не сочтите этого двусмысленнаго слова за намёкъ, что онъ пошелъ въ лакеи). Завиральныя идеи начинаютъ облетать какъ желтые листья. Въ третьей тетради—*полное развитіе*: тамъ никакихъ уже нѣтъ идей, мыслей, чувствъ; отъ этого она дѣльнѣе, и видно, что молодой человѣкъ «въ умъ вошелъ»; вся третья тетрадь состоитъ изъ расходной книги, формулярнаго списка и двухъ довѣренностей, засвидѣтельствованныхъ въ гражданской палатѣ. Пока вотъ отрывокъ изъ начала второй тетради, будетъ и изъ третьей, если того захотятъ, во-первыхъ, читатели, во-вторыхъ, издатель «Отеч. Записокъ», въ-третьихъ... кто бишь въ-третьихъ, дай Богъ память... Вспомню, скажу послѣ.

ГОДЫ СТРАНСТВОВАНІЯ.

> So bleibe denn die Sonne mir im Rücken
> Am *farbigen Abglanz* haben wir das *Leben*.
> Faust. II Theil.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

> *Per me si va nella città dolente!*
> Dante. De l'Inferno.

Я устроенъ чрезвычайно-гуманно. Читая розенкранцеву «Психологію», имѣлъ я случай убѣдиться, что устроенъ рѣшительно по хорошему современному руководству. Отъ-того меня нисколько не удивляетъ, что всякое первое впечатлѣніе бываетъ смутнѣе, слабѣе, нежели отчетъ въ немъ. Непосредственность только пьедесталъ жизни

Вторая часть «Записок одного молодого человека» А. И. Герцена, опубликованная в журнале «Отечественные записки» (1841, № 8).

соображениям пришлось исключить из текста несколько страниц. На месте пропуска появилось краткое «междусловие», где Герцен объяснил читателям, каким образом в его руках оказалась тетрадь молодого человека. Так в произведении возник образ издателя — литературный прием, хорошо известный русскому читателю 1830—1840-х годов по произведениям Пушкина, Гоголя, Лермонтова.

В Петербурге было написано и предисловие «От нашедшего тетрадь», предваряющее публикацию второй части произведения в «Отечественных записках».

Деятельное участие в издании «Записок одного молодого человека» принимал Белинский. Как указал сам Герцен, еще до официального представления в цензуру Белинский показывал рукопись одному из цензоров. Отмеченные им места, «как совершенно невозможные», Герцен смог предварительно исключить и обозначить пропуски в тексте.

Первое художественное произведение Герцена, появившееся в печати, обнаружило его острую наблюдательность, умение несколькими выразительными штрихами воссоздать типические черты окружавших его людей и обстановки.

Белинский был в восторге от «Записок». Он находил, что первая часть исполнена «ума, чувства, оригинальности и остроумия». По поводу второй части критик отметил, что она «заинтересовала общее внимание».

Год, проведенный в Петербурге, — важный этап жизни и творческой биографии Герцена. В столице укрепилось передовое общественно-политическое мировоззрение Герцена.

Пора литературного ученичества, поиски своего жанра завершились в Петербурге созданием произведений, которые вывели Герцена на собственную и непроторенную дорогу в литературе. Белинский привлек Герцена к сотрудничеству в «Отечественных записках». На страницах этого лучшего русского журнала было напечатано большинство произведений Герцена 1840-х годов. Литературный псевдоним Герцена — Искандер — приобретает широкую известность.

«МОСКВА И ПЕТЕРБУРГ»



В одном из последних писем из Петербурга, перед отъездом в Новгород, Герцен писал: «Петербург не хуже Москвы, Москва не хуже Петербурга... Здесь больше Европы, в Москве больше сил. Впрочем, это материя старая».

Намеченное в этом письме сопоставление двух столиц стало содержанием двух очерков — «Москва и Петербург» и «Новгород Великий и Владимир-на-Клязьме». Произведения были написаны в Новгороде в 1841—1842 годах, но тематически и идейно они связаны с петербургским периодом жизни Герцена и представляют собой итог его наблюдений над жизнью столицы.

Сравнивая Москву и Петербург, Герцен сосредоточил внимание на изображении отрицательных сторон жизни обеих столиц. Заостряя мысль, доводя ее до парадокса, он дал резко сатирическую характеристику и барской Москвы, и бюрократического, военно-придворного Петербурга. Позднее под влиянием Белинского Герцен пересмотрит многие свои оценки, откажется от некоторых ошибочных утверждений. Но, публикуя

свои произведения в 50-х годах, Герцен оставил их в прежнем виде — «по какому-то чувству добросовестности к прошедшему».

Герцен обратился к теме, имевшей давнюю традицию. В 1820—1830-е годы ее касаются в художественных произведениях, публицистических статьях, письмах Карамзин, Вяземский, Батюшков, Пушкин, Гоголь, Лермонтов. Позже, в 1840-е годы, о Москве и Петербурге писали Огарев и Белинский. Противопоставление двух столиц — излюбленная тема славянофильской поэзии и публицистики.

Что заставляло русских писателей на протяжении десятилетий вновь и вновь обращаться к сравнению Москвы и Петербурга? Объяснения прежде всего требовал не имевший прецедента исторический факт: Россия — единственная европейская держава, у которой было две столицы. Петербург, основанный как военно-морская крепость, как форпост в войне против Швеции, превратился без специального указа в главный город государства. Даже в 40-е годы в официальных документах Петербург именовался «столичным городом». В этом была какая-то неопределенность. «Две столицы не могут в равной степени процветать в одном и том же государстве, как два сердца не существуют в теле человеческом», — писал Пушкин.

Современники остро чувствовали контраст между Москвой и Петербургом. В архитектуре, образе жизни, быте, культуре — во всем улавливалась коренная противоположность. Две столицы — «две» России.

Москва и Петербург воспринимались как воплощение двух различных, во многом противоположных начал русской истории и русской государственности. Древняя Москва — это олицетворение старины, исконно народного быта, в то время как «юный» Петербург —

символ новой, европеизированной России. «Стройный, правильный, выравненный, симметричный, одноцветный, цельный Петербург может некоторым образом служить эмблемою нашего общежития», — писал П. А. Вяземский. И наоборот, Москва представлялась ему «метрополией старины».

В спорах о двух столицах предпочтение отдавалось Москве. С ней были связаны воспоминания о грозных событиях 1612 и 1812 годов. Героизм русского народа в Бородинской битве, пожар Москвы вызвали в русском обществе небывалый прилив патриотических чувств к «матери градов России». Герцен писал: «При первом же пробуждении народа Петербург затмился, а Москва, столица без императора, принесшая себя в жертву для общего отечества, приобрела новое значение».

В конце 1830-х — начале 1840-х годов, когда формировались славянофильская и западническая доктрины, споры о Москве и Петербурге приобрели особую остроту. Различное отношение к двум столицам отражало растущее размежевание общественных сил. Славянофилы усилили борьбу «за Москву» против «западнического» Петербурга в связи с приближающимся 700-летием Москвы. Остроту этой борьбы сохранили страницы журналов, воспоминания и письма современников.

Возвратившись из владимирской ссылки в Москву, Герцен стал свидетелем острых дискуссий. В московских салонах заметной фигурой был А. С. Хомяков, один из идеологов раннего славянофильства. По определению Герцена, это был «человек эффектов», «совершенно холодный для истины». Он, например, доказывал, что Успенский собор в Москве — лучшее здание во всей Европе.

Дискуссии о двух столицах не утихали и в Петербурге. В феврале 1841 года Герцен сообщал Огареву, что незадолго до этого он и Белинский в развернувшихся спорах разбили своих противников и «доказали необъятное расстояние между Москвой и Петербургом».

Даже в 1845—1846 годах споры о Москве и Петербурге, по словам Герцена, «повторялись ежедневно или, лучше, еженочно». Очерк «Москва и Петербург» явился, таким образом, глубоко злободневным произведением.

Его жанр не поддается однозначному определению. Это статья, публицистический памфлет, социологический этюд, исторический очерк. В нем слиты тонкий лиризм, блещущая остроумием ирония, едкий сарказм. Бытовые зарисовки переплетаются с широкими обобщениями исторического, философского, политического характера. Стиль необычайно емок, афористичен. Неожиданные сближения, политические намеки, парадоксы придают ему особую остроту. В произведении угадывается будущий автор «Былого и дум» и блестящих публицистических статей в «Колоколе».

Сам Герцен назвал «Москву и Петербург» «шуткой». Но в этой «шутке» он сумел коснуться важных общественных вопросов. Он говорит о прошлом и настоящем России, о значении деятельности Петра I, упоминает о событиях 1812 года, характеризует современную журналистику, вступает в полемику со славянофилами.

Россия после Петра I — таково по существу содержание произведения. С гневом и болью Герцен пишет о сменявших друг друга самозваных правителях России, распоряжавшихся ее судьбами: «В свое время приедет курьер, привезет грамотку — и Москва верит пе-

чатному, кто царь и кто не царь, верит, что Бирон — добрый человек, а потом — что он злой человек, верит, что сам бог сходил на землю, чтоб посадить Анну Иоанновну, а потом Анну Леопольдовну, а потом Иоанна Антоновича, а потом Елисавету Петровну, а потом Петра Федоровича, а потом Екатерину Алексеевну на место Петра Федоровича. Петербург очень хорошо знает, что бог не пойдет мешаться в эти темные дела; он видел оргии Летнего сада, герцогиню Бирон, валявшуюся в снегу, и Анну Леопольдовну, спящую с любовником на балконе Зимнего дворца, а потом сосланную; он видел похороны Петра III и похороны Павла I. Он много видел и много знает». В этом перечне не названо еще одно событие — воцарение Николая I. Но оно легко угадывается, когда Герцен говорит, что «стены Петропавловской крепости берегут казематы...».

Прошлое России, с точки зрения Герцена, воплощает Москва, современность — Петербург: «Говорить о настоящем России — значит говорить о Петербурге, об этом городе без истории в ту и в другую сторону, о городе настоящего, о городе, который один живет и действует в уровень современным и своеземным потребностям на огромной части планеты, называемой Россией. Москва, напротив, имеет притязания на прошедший быт, на мнимую связь с ним; она хранит воспоминания какой-то прошедшей славы, всегда глядит назад, увлеченная петербургским движением... Жизнь Петербурга только в настоящем; ему не о чем вспоминать, кроме о Петре I, его прошедшее сколочено в один век, у него нет истории, да нет и будущего...»

В отличие от Москвы, Герцен не видит в Петербурге ничего самобытного, унаследованного от прошлого: «Оригинального, самобытного в Петербурге ничего нет, не так, как в Москве, где все оригинально —

от нелепой архитектуры Василья Блаженного до вкуса калачей. Петербург — воплощение общего, отвлеченного понятия столичного города; Петербург тем и отличается от всех городов европейских, что он на все похож; Москва — тем, что она вовсе не похожа ни на какой европейский город, а есть гигантское развитие русского богатого села».

Образ жизни москвичей, пребывающих в «летаргическом сне», в корне отличен от «вечного стука суеты суетствий» Петербурга.

Столь же противоположна литературная деятельность в обеих столицах: «В Петербурге все литераторы — торгаши; там нет ни одного круга литературного, который бы имел не личность, не выгоду, а идею связью. Петербургские литераторы вдвое менее образованны московских; они удивляются, приезжая в Москву, умным вечерам и беседам в ней. А между тем вся книжная деятельность только и существует в Петербурге. Там издаются журналы, там цензура умнее, там писал и жил Пушкин, Карамзин; даже Гоголь принадлежал более к Петербургу, чем к Москве».

В своем сопоставлении Герцен не отдает предпочтения ни Москве, ни Петербургу. Однако политическая острота очерка связана с характеристикой официальной столицы. «Петербург — удивительная вещь, — пишет Герцен. — Я всматривался, приглядывался к нему и в академиях, и в канцеляриях, и в казармах, и в гостиных, — а мало понял... видел разные слои людей: людей, которые олимпическим движением пера могут дать Станислава или отнять место; людей, беспрерывно пишущих, т. е. чиновников; людей, почти никогда не пишущих, т. е. русских литераторов; людей, не только никогда не пишущих, но и никогда не читающих, т. е. лейб-гвардии штаб- и обер-офицеров; видел

львов и львиц, тигров и тигриц; видел таких людей, которые ни на какого зверя, ни даже на человека не похожи, а в Петербурге — до́ма, как рыба в воде; наконец, видел поэтов в III отделении собственной канцелярии — и III отделение собственной канцелярии, занимающееся поэтами; но Петербург остался загадкой, как прежде».

Вглядываясь в жизнь столицы, Герцен сделал важное наблюдение: в атмосфере военно-придворного города, в непосредственной близости от Зимнего дворца происходит политическое дозревание человека. Московские «жиденькие либералы», замечает Герцен, в Петербурге быстро утрачивают свое вольномыслие и превращаются в верноподданных. Убедительный пример — метаморфоза, происшедшая с Полевым, который после закрытия «Московского телеграфа» и переезда в Петербург перешел на реакционно-охранительные позиции.

На Белинского жизнь в столице оказала противоположное влияние. Мучительный идейный кризис, который критик переживал в Москве, был преодолен в Петербурге и — во многом — благодаря Петербургу. «Белинский, — писал Герцен, — проповедавший в Москве народность и самодержавие, через месяц по приезде в Петербург заткнул за пояс самого Анахарсиса Клоца». Сопоставляя Белинского с этим выдающимся деятелем французской революции 1789 года (настоящее его имя — Жан Батист Клоотс), прозванным «оратором рода человеческого», Герцен подчеркивал, что деятельность «неистового Виссариона» приобрела в Петербурге революционный характер.

В столице возросла и окрепла ненависть Герцена к царской бюрократии, ко всему самодержавно-крепостническому строю. «Нигде я не предавался так

часто, так много скорбным мыслям, как в Петербурге, — писал Герцен в очерке. — Задавленный тяжкими сомнениями, бродил я, бывало, по граниту его и был близок к отчаянию. Этими минутами я обязан Петербургу, и за них я полюбил его, так, как разлюбил Москву за то, что она даже мучить, терзать не умеет. Петербург тысячу раз заставит всякого честного человека проклясть этот Вавилон...»

Наблюдения над жизнью столицы приводят Герцена к выводу: николаевская действительность враждебна началам, провозглашенным Петром I. Этот вывод вытекал из исторических воззрений Герцена, из его оценки Петра как смелого реформатора. «В судьбе Петербурга есть что-то трагическое, мрачное и величественное, — писал Герцен. — Это любимое дитя северного великана, гиганта, в котором сосредоточена была энергия и жестокость Конвента 93 года и революционная сила его, любимое дитя царя, отрекшегося от своей страны для ее пользы и угнетавшего ее во имя европеизма и цивилизации».

Мысль Герцена о противоположности двух эпох — петровской и николаевской — проступает более отчетливо при сопоставлении очерка «Москва и Петербург» с поэмой Н. П. Огарева «Юмор», которая создавалась в 1840—1841 годах в процессе творческого общения с Герценом.

Во второй части поэмы отражены впечатления Огарева от Петербурга во время его кратковременного пребывания в столице в апреле — мае 1841 года.

Незадолго до приезда Огарева Герцен узнал, что его друг собирается несколько лет прожить в Петербурге. Это намерение Герцен назвал «безумием» и выдвинул другой план: «Приехать сюда на лето и на часть зимы посмотреть на гигантский город, насла-

диться его островами, его пышностью, всосать к нему отвращение ex ipso fonte[1] — против этого ни слова».

Случилось так, как и предвидел Герцен. Огарев почувствовал внешнее великолепие города на Неве и одновременно не мог не проникнуться ненавистью к военно-придворной столице, олицетворявшей для него самодержавную власть. Так же как для Герцена и Белинского, Петербург стал для Огарева школой политического воспитания:

> О! там... в тиши родной Москвы,
> От бурь мирских задвинув ставень,
> И не предчувствуете вы,
> Как душу здесь сжигает пламень.

В поэме «Юмор» нарисована широкая панорама Петербурга — Зимний дворец, домик Петра I, Петропавловская крепость, монумент Петру I. Но Огарев в Петербурге — не заезжий турист, восхищающийся красотами Северной Пальмиры. Очарование столицы не исторгает из его груди восторженных возгласов. Наоборот, здания и монументы, Невский проспект и военный парад вызывают в нем тягостные раздумья.

Одним из идейных центров второй части поэмы являются строфы, рисующие памятник Петру I. Эта часть «Юмора» навеяна «Медным всадником» Пушкина. Зависимость поэмы Огарева от пушкинского произведения ощущается и в характеристике Петра I, и в совпадении ряда эпизодов и даже отдельных выражений.

Но образ Петра I в поэме Огарева переосмыслен. В «Медном всаднике» Петр — это воплощение силы, враждебной герою поэмы. Царь, пылающий гневом, и Евгений, в бессильной злобе угрожающий «горделивому истукану», — враги.

---

[1] Из самого источника *(лат.)*.

Зак. 1701/л



Н. П. Огарев. *Портрет работы неизвестного художника. 1830-е гг.*

Для героя «Юмора» Петр I — это единомышленник. В чертах его лица поэт видит не гнев и ненависть, а грусть и скорбь, с которой Петр I смотрит на основанный им город.

Николаевский Петербург чужд и враждебен Петру I — такова мысль Огарева. Об этом же думает и Герцен, когда смотрит на монумент Петру: «Отчего битва 14 декабря была именно на этой площади, отчего именно с пьедестала этой площади раздался первый крик русского освобождения, зачем каре жалось к Петру I — награда ли это ему?... или наказание? Четырнадцатое декабря 1825 было следствием дела, прерванного двадцать первого января 1725 года[1]. Пушки Николая были бы равно обращены против возмущения и против статуи; жаль, что картечь не расстреляла медного Петра...»

Поэма Огарева проникнута пафосом революционной борьбы. Поэт взывает к мести, к восстанию. Его слова звучат, как лозунги, как боевые призывы:

О! сройте, сройте поскорей
Вы эти стены, эти своды!
Замки отбейте у дверей!
Зовите всех на пир свободы!

В русской литературе 1830—1840-х годов поэма Огарева — единственное произведение, в котором с такой прямотой и силой выражен призыв к революционной борьбе. Острая политическая направленность произведения исключала возможность его распространения даже в списках. По-видимому, поэма Огарева была известна в 1840-х годах лишь его ближайшим друзьям,

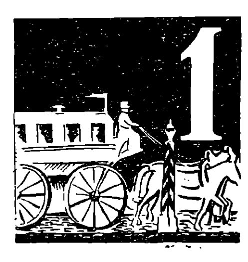
---

[1] Герцен имеет в виду дату смерти Петра I, но допускает неточность: Петр I умер 28 января 1725 года.

и в первую очередь, конечно, Герцену. Картины Петербурга, нарисованные в поэме Огарева, стояли перед взором Герцена, когда он работал над своим произведением «Москва и Петербург».

Очерк Герцена не мог быть напечатан по цензурным соображениям, но получил широкое распространение в списках. В предисловии к первой публикации произведения в 1857 году Герцен писал: «Статья эта нравилась многим и обошла всю Россию в рукописных копиях». По свидетельству А. П. Милюкова, близкого к петрашевцам, рукопись очерка «Москва и Петербург» обращалась среди петрашевцев наряду с письмом Белинского к Гоголю.

«...СОСТОЯНИЕ БЕСПРАВИЯ ДУШИТ...»



1 октября 1846 года, взяв место в дилижансе Серапинского заведения, Герцен выехал из Москвы в Петербург. Это было его третье путешествие в столицу.

Опять потянулись знакомые места — Черная Грязь, Клин, Тверь, Торжок, Едрово, Крестцы, Новгород, Любань... На каждой станции — «картинная галерея на стене... объявления о ценах кушаний, которых нет», и «правила как вести себя приезжим». Впрочем, в дилижансе нашелся словоохотливый попутчик. Соседом Герцена оказался купец, вольноотпущенный Ольги Александровны Жеребцовой, превозносивший свою «благодетельницу».

В Торжке, пока меняли лошадей, Герцен принялся за письмо к Наталье Александровне: «Еду я в первый раз с комфортом, т. е. с кожаным мешком, который мне мешает сидеть, и с томиком Вольтера, который мне мешает спать». Пытался продолжить письмо в дилижансе. Но в коляске, вздрагивавшей на каждой рытвинке, это было невозможно. Пришлось отложить письмо до Новгорода.

Когда в декабре 1839 года Герцен впервые приехал в Петербург, он был никому не известным чиновником.

Теперь, семь лет спустя, Герцен возвращался в столицу прославленным писателем. Его литературный псевдоним — Искандер — был известен всей читающей России.

Статьи Герцена под общим названием «Дилетантизм в науке», пропагандировавшие передовое научное мировоззрение, пользовались большой популярностью среди учащейся молодежи. Студенты «гурьбой» ходили в кондитерские читать философские работы Искандера. «...Большей награды за труд не может быть», — записал Герцен в дневнике.

Еще больше возросла известность Искандера после того, как в «Отечественных записках» появился цикл философских статей «Письма об изучении природы». Труд Герцена явился новым, высшим этапом в развитии русской материалистической философии. Решение важнейших вопросов в «Письмах» находилось в тесной связи с вопросами политическими и социальными. В статье «Памяти Герцена» В. И. Ленин писал: «Первое из «Писем об изучении природы» — «Эмпирия и идеализм», — написанное в 1844 году, показывает нам мыслителя, который, даже теперь, головой выше бездны современных естествоиспытателей-эмпириков и тьмы тем нынешних философов, идеалистов и полуидеалистов. Герцен вплотную подошел к диалектическому материализму и остановился перед — историческим материализмом».

Русские читатели знали не только Герцена — философа и публициста, но и Герцена — писателя.

В 1845—1846 годах в «Отечественных записках» была напечатана первая часть романа «Кто виноват?».



А. И. Герцен. *Автолитография К. А. Горбунова, 1845 г.*

Яркое антикрепостническое произведение было проникнуто пафосом борьбы против того общественного строя, который обрекал миллионы людей на бесправие, темноту, рабство.

По словам Герцена, роман произвел «большую сенсацию». Реакционная критика стремилась притупить социально-политический смысл романа, отрицала типичность его героев, обрушилась на стиль Герцена — просветителя и революционера. Булгарин не замедлил настрочить донос в III отделение, обвиняя Герцена в оскорблении «благородного сословия».

Высокую и разностороннюю оценку романа дал Белинский в статьях-обзорах 1845 и 1847 годов, а в одном из писем Герцену он заявил: «Если ты лет в десять напишешь три-четыре томика, поплотнее и порядочного размера, — ты — большое имя в нашей литературе и попадешь не только в историю русской литературы, но и в историю Карамзина. Ты можешь оказать сильное и благодетельное влияние на современность». Слова Белинского начинали сбываться.

Семь лет назад, отправляясь в столицу впервые, Герцен мог известить о своем предстоящем приезде лишь одного человека — своего двоюродного брата С. Л. Левицкого. Сейчас круг петербургских знакомых его расширился. Предстояли встречи с А. Л. Витбергом, О. А. Жеребцовой, В. А. Соллогубом, К. И. Арсеньевым, И. И. и А. Я. Панаевыми, М. А. Языковым, А. А. Краевским.

Но прожитые годы — не только время творческого труда и литературной славы Герцена; это были и годы крушения надежд, и годы большого человеческого горя. Едва Герцен и Наталья Александровна стали приходить в себя после обрушившихся на них гонений в Петербурге, как умер ребенок, проживший не больше

недели. В Новгороде — новая утрата: умерла родившаяся там дочь.

Через полгода после возвращения в Москву, в декабре 1842 года, скончался сын, проживший несколько дней.

Гонения и смерть детей надломили здоровье Натальи Александровны. Лечение не давало результатов, состояние ухудшалось. Оставалось одно средство — поездка за границу. «Хотелось бы скакать на юг, на европейскую почву — рассеяние, климат, люди помогли бы ей. А на ногах цепь», — записал Герцен в дневнике 9 мая 1842 года.

К мысли о юге, об Италии Герцен возвращался все чаще и чаще. Вот запись в дневнике 19 марта 1843 года: «Теперь одна цель, одно желание — поправить здоровье Natalie и ехать, ехать на юг, в степь, если нельзя в Италию». 10 апреля: «Болезнь Наташи не уменьшается... Мне бы хотелось в даль, в глушь, где было бы тепло, где было бы море и где бы мы остались только вдвоем».

Герцен изнемогал в обстановке ссылки, цензурных гонений, полицейского надзора. Он ощущал потребность широкой общественной и литературной деятельности. Гармония и счастье семейной жизни не заполняли всего существования. «Моя натура по превосходству социабельная. Я назначен собственно для трибуны, форума, так, как рыба для воды», — писал Герцен. Но в условиях русской действительности всякое свободное слово грозило новыми гонениями. Приходилось прибегать к недомолвкам, иносказаниям, эзоповской речи, к затемнению смысла своих произведений. Но и в таком виде они запрещались цензурой или подвергались искажениям. Перед выходом в свет очередной книжки «Отечественных записок», где должна

была появиться статья «Дилетанты-романтики», Герцен записал в дневнике: «Я пробежал ее. Или цензура ее изуродует, или эта статья может принести последствия. Может, третью ссылку. Горько будет, но я готов».

Во что бы то ни стало избавиться от неусыпного полицейского надзора, не чувствовать стесняющих цензурных колодок, глотнуть чистого, свежего воздуха!

В 1843 году Герцен сделал попытку добиться разрешения на поездку в Италию. По его просьбе попечитель Московского учебного округа граф С. Г. Строганов в конфиденциальном письме к Бенкендорфу спрашивал, сможет ли Герцен получить разрешение на заграничное путешествие, если обратится к властям. Но ходатайство влиятельного вельможи не помогло: Николай I ответил отказом. «Еще мечта, одна из предпоследних, убита, — записал Герцен в дневнике. — Тяжела шапка рабства, состояние бесправия душит, и никакого конца не предвидится».

В 1844 году перед Герценом, казалось, открылась возможность широкой литературной и научной деятельности. Грановский, Герцен и группировавшиеся вокруг них ученые Московского университета приступили к организации исторического и литературного журнала «Московское обозрение». Предполагалось, что деятельное участие в журнале примут В. Г. Белинский, И. П. Галахов, Н. П. Огарев, И. И. Панаев, Н. Х. Кетчер, Е. Ф. Корш и другие.

Во главе «Московского обозрения» должен был стать Тимофей Николаевич Грановский, крупнейший ученый-просветитель, которого Чернышевский считал «одним из сильнейших посредников между наукой и нашим обществом», называл «авторитетом добра и

истины». Не приходится сомневаться в том, что под руководством Грановского, при участии Герцена, Огарева, Белинского издание превратилось бы в лучший литературно-общественный и научный журнал.

Участие в новом журнале прогрессивного направления, совместная работа с идейно близкими людьми, полная независимость в решении внутриредакционных вопросов — все это определило особую заинтересованность Герцена в успехе начинания.

Прошение об издании «Московского обозрения» было подано Грановским 19 июня 1844 года. Одновременно Герцен со свойственной ему широтой и практичностью принялся за организацию журнала. Он обратился к Кетчеру, Белинскому и Панаеву с просьбой приготовить материалы для «Московского обозрения». Герцен взял на себя и организацию финансовой стороны предприятия.

Но власти не торопились с ответом. 15 октября 1844 года Герцен записал в дневнике: «Разрешения на журнал нет; это, кажется, последняя мечта, и та не сбудется. Стыдная жизнь; иногда бывает так тяжело, так тяжело, что апатия овладевает всем существом и хотел бы только есть и пить».

Лишь через полгода после подачи прошения, в декабре 1844 года, был получен ответ. На докладе министра просвещения Уварова Николай I наложил лаконичную резолюцию: «И без нового довольно».

Так рушилась «последняя мечта» о деятельности.

Герцен узнал о судьбе «Московского обозрения» 24 декабря, а в начале января 1845 года он написал О. А. Жеребцовой письмо, в котором просил выхлопотать заграничный паспорт или разрешение приехать в Петербург, чтобы самому приняться за хлопоты. Герцен мог рассчитывать на удовлетворение своей

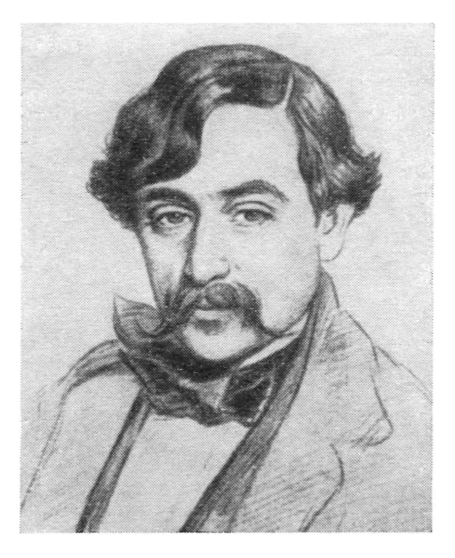
просьбы, так как к этому времени начальником III отделения был назначен А. Ф. Орлов, родственник Жеребцовой.

В апреле разрешение на въезд в Петербург было получено, но Герцен сумел им воспользоваться только через полтора года, — он не мог оставить тяжело болевшего отца.

Герцен приехал в столицу вечером 4 октября 1846 года. Он остановился у Ивана Ивановича и Авдотьи Яковлевны Панаевых, живших в доме княгини Урусовой, на углу набережной реки Фонтанки и Итальянской улицы (ныне улица Ракова), 19. Панаевы снимали здесь большую квартиру вместе с Н. А. Некрасовым.

В доме Панаевых Герцен встретил самый радушный прием и прожил десять дней. Неистощимым остроумием, энергией он всюду вносил необыкновенное оживление. «Я удивлялась, — вспоминала А. Я. Панаева, — как Герцен мог обходиться без сна, потому что выпадали дни, когда он положительно не ложился в постель. Бывало, гости засидятся до двух, трех часов ночи, а он вдруг вздумает идти освежиться на воздух, возвращается часов в восемь утра и начинает стучаться ко мне в дверь, стыдя, что я так долго сплю, что уже пора пить чай... После отъезда Герцена у нас водворилась какая-то тишина и пустота, потому что он необыкновенной живостью своего характера оживлял всех, а после его остроумных разговоров казалось, что все другие говорят вяло, как-то размазывают свою мысль, тогда как Герцен передавал ее всегда сжато, рельефно и блестяще; она сверкала, точно молния».

Ко времени приезда Герцена в Петербург Некрасов и Панаев приобрели у П. А. Плетнева право на издание «Современника». Постоянным сотрудником обновлен-



И. И. Панаев. Рисунок К. А. Горбунова. 1845—1855 гг.

ного журнала должен был стать Белинский. За несколько месяцев до этого он порвал с «Отечественными записками» и с их издателем Краевским, идейно чуждым ему человеком, преследовавшим прежде всего корыстные цели. Великий критик обретал наконец независимую журнальную трибуну. Герцен принял участие в организации «Современника». Его имя стояло в списке сотрудников журнала. В сентябре 1846 года Некрасов писал Белинскому о желании новой редакции издать отдельной книжкой роман Герцена «Кто виноват?», первая часть которого печаталась в «Отечественных записках».

В начале 1847 года произведение Герцена вышло отдельным изданием как приложение к журналу «Современник».

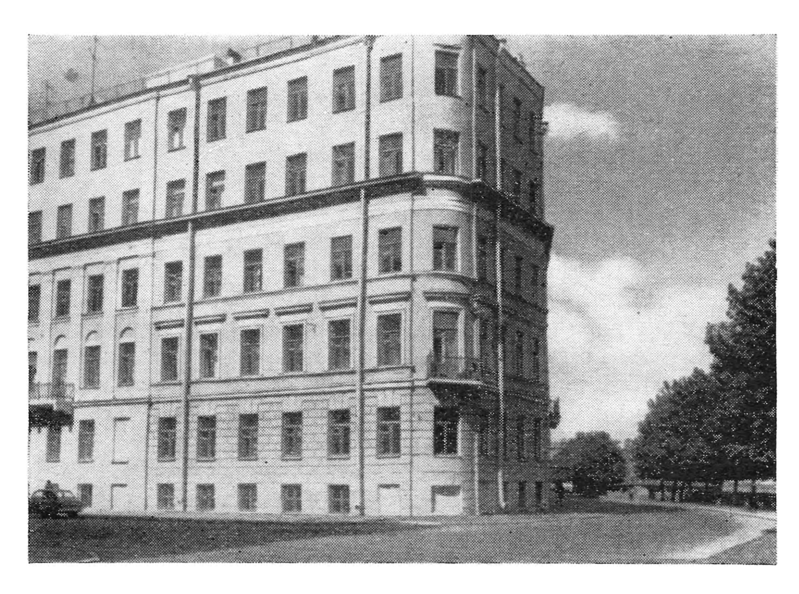
Существенную помощь новой редакции оказала Наталья Александровна. Через нее Панаев вел переговоры с московскими литераторами, приглашенными участвовать в «Современнике». Перед отъездом Герцена в Петербург она вручила ему из своих денег 5 тысяч рублей для передачи Некрасову.



А. Я. Панаева. *Акварель неизвестного художника.*

В доме Панаевых Герцен оказался в гуще редакционных дел. «Панаев и Некрасов поглощены «Современником», — писал Герцен жене. — Все доселе виденное и слышанное мной заставляет меня желать полного успеха. Правда, во всем этом есть немного неосновательности, — но и только. Они ждут ответа от Грановского et C-nie и пуще всего ждут Белинского».

К этому времени еще не был окончательно решен вопрос о редакторе «Современника». Некрасова и Панаева власти считали неблагонадежными для этой роли. Что касается Белинского, то в III отделение на него уже давно начали поступать доносы как на автора статей, проникнутых «зловредным духом». На пост официального редактора был приглашен Александр Васильевич Никитенко, цензор и профессор словесности Петербургского университета. «Никитенко человек честный, хороший и питающий ко всем нашим большое уважение», — писал о нем Панаев. Кандидатура Никитенко была приемлемой и для правительства, — благонадежность цензора не вызывала сомнений.



Набережная реки Фонтанки, 19. В этом доме жили А. Я. и И. И. Панаевы. *Фотография 1970 г.*

7 октября Герцен отправился к Никитенко. Он жил на углу Владимирского проспекта и Графского переулка в доме генерала Фридерикса (ныне Владимирский проспект, 13, угол улицы Марии Ульяновой). Герцен встретил самый радушный прием. «...Был у Никитенки, он удивительно добрый и благородный человек, меня принял с отверстыми объятиями, вообще я и не предполагал, что мои статьи имеют здесь и тот ход и ту известность», — писал Герцен. Никитенко сообщил приятную новость: повесть Герцена «Доктор Крупов» пропущена цензурой с «небольшими выпусками».

После встречи с Герценом Никитенко записал в дневнике: «Третьего дня я познакомился с Герценом. Он был у меня. Замечательный человек. Вчера обедали мы вместе у Леграна».

В доме Панаевых Герцен встретился с Ф. М. Достоевским, незадолго до этого выступившим со своим первым произведением — романом «Бедные люди». Об этой встрече Герцен отозвался весьма сухо: «Видел сегодня Достоевского, он был здесь — не могу сказать, чтоб впечатление было особенно приятно».

По всей вероятности, у Панаевых Герцен встретился и с И. А. Гончаровым. Его первый роман «Обыкновенная история» еще не был напечатан, но уже получил широкую известность в литературных кругах после того, как Гончаров читал рукопись в салоне Майковых, затем в течение нескольких вечеров — на квартире у Белинского. Встреча с Гончаровым была мимолетной. Герцен вообще о ней не упомянул, Гончаров же ограничился одной строчкой в своих «Воспоминаниях». При этом он ошибочно полагал, что Герцен находился в Петербурге проездом за границу.

У Краевского Герцен встретился с известным в свое время писателем и журналистом Владимиром Рафаиловичем Зотовым, оставившим воспоминания об этой встрече. «Впечатление, какое произвел на меня, как, конечно, и на всех близко знавших его, этот богато одаренный природою человек и писатель, так сильно, — писал Зотов, — что говорить об нем в немногих словах нельзя, а говорить подробно — еще не настало время. К сожалению, я видел его в Петербурге... только три раза, и из них только одна беседа продолжалась несколько часов — остальные были слишком коротки. Он вскоре уехал в Москву, а в следующем году, по смерти отца, эмигрировал за границу».



В. Р. Зотов. *Фотография 1860-х гг.*

Несколько раз Герцен виделся с писателем Владимиром Александровичем Соллогубом, автором повестей «Большой свет», «Тарантас», «Аптекарша» и других. Еще в 1842 году благодаря хлопотам Соллогуба и его влиятельного родственника графа Виельгорского Герцен получил разрешение возвратиться из Новгорода в Москву. «Очень, очень хотелось бы мне написать звучную строку искренней благодарности делателю «Тарантаса» и его благородному родственнику. Но не знаю, следует или нет...» — писал тогда Герцен. Теперь в Петербурге он получил возможность выразить Соллогубу свою признательность.

В письмах из Петербурга Герцен упоминает и о других встречах.

Он познакомился с одним из ближайших друзей Белинского, критиком и переводчиком Андреем Ивановичем Кронебергом, сотрудником «Отечественных записок», а затем и «Современника». «Из всех мною виденных новых лиц мне нравится наиболее Кронеберг», — писал Герцен жене, хорошо знавшей переводы Кронеберга из Шекспира, Гейне и других писателей.

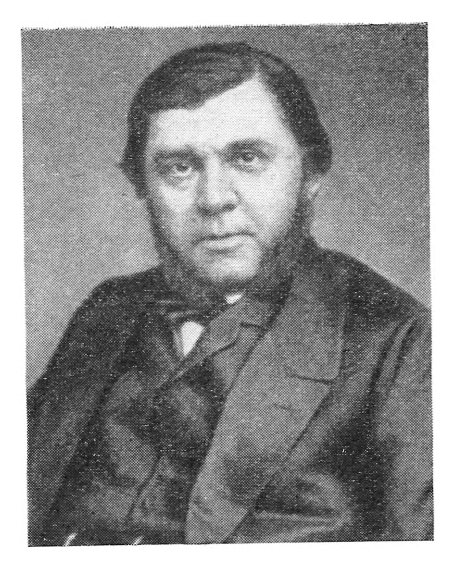
Несколько раз Герцен виделся и с другим приятелем Белинского и Панаева — Михаилом Александровичем Языковым (однофамильцем поэта). Их знакомство состоялось еще в 1840—1841 годах. В Петербурге Языков пользовался репутацией веселого собеседника, каламбуриста и острослова. В письмах к петербургским друзьям из Новгорода и Москвы Герцен не забывает передать поклон Языкову и с удовольствием вспоминает его остроты и каламбуры. В 1846 году Языков вместе с Н. Н. Тютчевым открыл «Контору агентства комиссионерства», которая занималась высылкой в провинцию «всех возможных предметов необходимости, пользы и роскоши». Коммерческое предприятие Языкова вызвало ироническое отношение Герцена. «Языков невероятно смешон с своей конторой — хлопочет, важен, даже не острит», — писал Герцен жене.

В Петербурге Герцен встретился с Дмитрием Александровичем Засядко. Это был товарищ М. Е. Салтыкова-Щедрина и М. В. Петрашевского по Царскосельскому лицею. Засядко окончил лицей в 1844 году одновременно с Салтыковым-Щедриным, и летом того же года друзья приехали в Москву.

В октябре Засядко был определен в Московский главный архив министерства иностранных дел и одновременно получил «высочайшее дозволение» слушать лекции в Московском университете.

Засядко был в числе гостей, приезжавших в 1845—1846 годах в подмосковную деревню Соколово, где Герцен и Грановский жили на даче.

Засядко был намного моложе Герцена и Огарева (он родился в 1825 году), но это не мешало их дружеским отношениям. Дмитрий Александрович помогал Герцену в его хлопотах о получении заграничного паспорта. 13 июня 1846 года Засядко получил отпуск на



В. А. Соллогуб. *Фотография С. Л. Левицкого. 1850 г.*

28 дней для поездки в Петербург. Воспользовавшись этой оказией, Огарев отправил с ним письмо к Н. А. Милютину (брату петрашевца В. А. Милютина), служившему в министерстве внутренних дел и располагавшему широкими связями. В письме (оно отправлено 15 июня из Соколова) Огарев, в частности, писал: «Вот вам еще письмо, любезнейший Милютин, и еще новый знакомый — Засядко, с которым вы верно будете рады сойтись, и вот вам еще поручение: нельзя ли осведомиться о нашем друге Герцене — есть ли для него какие-нибудь препятствия к отъезду за границу или нет; известите меня об этом, если успеете, с тем же г. Засядкой, который возвращается через 28 дней».

Вместо 28 дней Засядко пробыл в Петербурге около двух месяцев и возвратился в Москву к месту службы лишь 5 августа 1846 года. Какой ответ он доставил Огареву и Герцену — неизвестно.

Вскоре Засядко переехал в Петербург. Как раз в те дни, когда Герцен находился в столице, Засядко был определен канцелярским чиновником в Сенат. Герцен с трудом отыскал Засядко и нашел его без копейки

денег. «...Почему и пошли к Смурову есть устрицы», — писал Герцен жене. Упоминаемый здесь Смуров — владелец известного в Петербурге гастрономического магазина в нижнем этаже дома Лерхе на Большой Морской, где в 1840—1841 годах жил Герцен.

В Петербурге Засядко возобновил знакомство с Салтыковым-Щедриным, служившим в канцелярии военного министерства, возможно, он посещал и «пятницы» Петрашевского.

Засядко мог рассказать Герцену об идейных исканиях передовой петербургской молодежи, группировавшейся вокруг Петрашевского.

Дальнейшая судьба Засядко была трагична. Летом 1847 года он тяжело заболел. Начальство возбудило ходатайство о назначении ему денежного пособия ввиду «совершенной недостаточности собственных его средств».

По-видимому, пособие так и не было получено. 30 сентября 1848 года Засядко умер в нищете в возрасте 23 лет.

Тяжелый осадок оставила встреча с А. Л. Витбергом. С 1841 года его адрес несколько раз менялся. В 1843 году Витберг вместе с семьей поселился в трехэтажном доме М. И. Мюссард, на Малой Итальянской улице, дом № 5 (ныне улица Жуковского, 6).

Архитектор жил в крайней бедности, случайными заработками, без всякой надежды изменить свое положение. «Канцелярские тиски», в которые Николай I поймал художника, судебный процесс, конфискация имущества, ссылка и нищета сделали свое дело. Герцен застал друга больным, душевно надломленным, отказавшимся от всякой борьбы. «...Он очень состарился и как-то разрушается, его радость и восторг были до чрезмерности, он плакал, жаль его, руина», — со-

общал Герцен жене. Более подробно о встрече с Витбергом Герцен впоследствии рассказал в «Былом и думах»: «В 1846, в начале зимы, я был в последний раз в Петербурге и видел Витберга. Он совершенно гибнул, даже его прежний гнев против его врагов, который я так любил, стал потухать; надежд у него не было больше, он ничего не делал, чтобы выйти из своего положения, ровное отчаяние докончило его, существование сломилось во всех составах. Он ждал смерти.

Если этого хотел Николай Павлович, то он может быть доволен.

Жив ли страдалец — не знаю, но сомневаюсь.

— Если б не семья, не дети, — говорил он мне, прощаясь, — я вырвался бы из России и пошел бы по миру; с моим владимирским крестом на шее спокойно протягивал бы я прохожим руку, которую жал император Александр, — рассказывая им мой проект и судьбу художника в России!

Судьбу твою, мученик, думал я, узнают в Европе, *я тебе за это отвечаю»*.

Скорбно-торжественный тон этих слов прозвучал как клятва. И Герцен сдержал ее. В 1854 году, когда Витберг еще был жив, в Вольной русской типографии в Лондоне были напечатаны мемуары Герцена «Тюрьма и ссылка. Из записок Искандера». Одна глава книги посвящалась Витбергу. В следующем году воспоминания были переведены на немецкий и английский языки. Европа узнала о судьбе Витберга, как и о судьбах Александра Полежаева, Николая Сунгурова и других жертв николаевского деспотизма.

Герцен не застал в Петербурге самого близкого человека — Белинского. Тяжелая болезнь заставила его еще в апреле уехать на юг, «не только за здоровьем,

но и за жизнью», как писал он Герцену. Однако поездка не принесла облегчения. На обратном пути Белинский на несколько дней остановился в Москве и в доме Е. Ф. Корша встретился с Натальей Александровной и Огаревым. Об этой встрече Наталья Александровна писала мужу в Петербург: «...там все были и Белинский, который нисколько не поправился от своего путешествия; его вид производит болезненное чувство».

Ярким эпизодом жизни Герцена в Петербурге явилось посещение театра. В этот свой приезд в столицу он дважды был в Михайловском театре, и оба раза — на спектаклях с участием знаменитой французской актрисы Сильвении Плесси-Арну. Ее выступления в Петербурге начались в октябре 1845 года, после того как молодая актриса, оставив Париж и «Французскую комедию», поступила в труппу Михайловского театра. Необычайная красота, одухотворенное лицо, прекрасный голос, величественные манеры принесли Плесси-Арну громкий успех. Газеты печатали восторженные статьи о ее игре. «Северная пчела», например, утверждала, что благодаря Плесси-Арну петербургская французская труппа стала лучшей во всей Европе. «...Если парижский житель, — говорилось в одной из рецензий, — захочет видеть хороший французский спектакль, то он должен приехать на берега Невы».

В следующем году выступления артистки проходили с еще большим успехом. Плесси-Арну играла в основном в комедиях Скриба, написавшего для нее бóльшую часть своих произведений.

5 октября Герцен вместе с А. Я. Панаевой видел Плесси в пьесе О. Арну и Н. Фурнье «Un secret» («Тайна»). В тот же вечер Герцен писал Наталье Алексан-

Французская актриса Сильвения Плесси-Арну. *1845 г.*



дровне об ее игре: «...да, это великая актриса, и что ей надавала для этого природа: она высока, величественна, голос ее проникает в глубину сердца, она тип величавой красоты, подавляющей силой, высотой, — но самое это исключает другого рода милую, страстную красоту, красоту неправильную — но ужасно захватывающую». Впечатление было настолько сильное, что два дня спустя Герцен второй раз отправился смотреть Плесси. 8 октября ставилась пьеса Э. Скриба «Женевьева, или Отцовская ревность».

Театр и встречи не отвлекали от главного. Хлопоты о получении паспорта начались с визита к О. А. Жеребцовой. Как и раньше, он встретил радушный прием, почувствовал искреннее стремление помочь. Дважды — в 1835 году, когда Герцена сослали в Вятку, и в 1841 году, когда его выслали из Петербурга, — О. А. Жеребцова, несмотря на все свое влияние, не смогла добиться облегчения его участи. На этот раз она была уверена в успехе и вселила надежду. «Неужели это правда, это возможно, чтоб наконец я мог

сделать нашу необходимую поездку для тебя? Начинаю верить»,— писал Герцен жене после разговора с Жеребцовой.

Он бывал у Ольги Александровны ежедневно, и даже несколько раз в день. Благодаря ее помощи осуществилась «последняя мечта».

Герцен на всю жизнь сохранил к Жеребцовой чувство благодарности.

Это была и последняя их встреча. В 1849 году, когда Герцен и Наталья Александровна были уже за границей, Жеребцова умерла в возрасте 83 лет.

В письмах из Петербурга Герцен очень скупо сообщал жене и друзьям о своих встречах и хлопотах. Ни одной беседы он не передал подробно. История с будочником заставляла быть осторожным. Герцен, по его словам, «отвык писать или, лучше, отучил себя намеренно».

О своих мытарствах он рассказал потом в «Былом и думах».

Им интересовались все — от дворника до обер-полицмейстера Кокошкина, вызывавшего Герцена в свою канцелярию. Кокошкин был известен всему Петербургу как наглый взяточник. Когда говорили об этом царю, он отвечал: «...но я сплю спокойно, зная, что он полицмейстером в Петербурге». У начальника полиции было «измятое, старое и дряхло-растленное лицо; на нем был завитой парик, который вопиюще противуречил опустившимся чертам и морщинам». Карьера этого верного слуги царя завершилась трагикомически. После смерти Кокошкина в 1861 году в Петербурге распространились слухи, что обер-полицмейстер умер, свалившись в выгребную яму. «Бойтесь смерти Кокошкина!» — не раз предупреждал Герцен своих противников. Но это было уже в 1860-х годах.

А сейчас Кокошкин грубым голосом чинил допрос:

«— Ведь вам высочайше запрещен въезд в Петербург?

— Да, но я имею разрешение.

— Где оно?

— У меня.

— Покажите... как же вы это второй раз пользуетесь тем же разрешением?

— Как во второй раз?

— Я помню, что вы приезжали.

— Я не приезжал.

— И какие это у вас дела здесь?

— У меня есть дело к графу Орлову.

— Что же, вы были у графа?

— Нет, но был в Третьем отделении.

— Видели Дубельта?

— Видел.

— А я вчера видел самого Орлова; он говорил, что никакого разрешения вам не посылал.

— Оно у вас в руках.

— Бог знает, когда это писано, и время прошло.

— Впрочем, странно было бы с моей стороны приехать без позволения и начать с визита генералу Дубельту.

— Коли не хотите хлопот, так извольте отправляться назад, и то не дальше, как через двадцать четыре часа.

— Я вовсе не располагался пробыть здесь долго, но мне нужно же подождать ответ графа Орлова.

— Я вам не могу позволить, да и граф Орлов очень недоволен, что вы приехали без позволения.

— Позвольте мне мою бумагу, я сейчас поеду к графу.

— Она должна остаться у меня.

— Да ведь это письмо ко мне, на мое имя, единственный документ, по которому я здесь.

— Бумага останется у меня как доказательство, что вы были в Петербурге. Я вам серьезно советую завтра ехать, чтоб не было хуже.

Он кивнул головой и вышел».

Пришлось отправиться в III отделение и снова встретиться с Дубельтом. Беседа оказалась полезной: во-первых, было получено разрешение оставаться в Петербурге; во-вторых, Герцен увидел заведенное на него полицейское дело; в-третьих, Дубельт дал совет: «Государь вам два раза отказал, последний раз по просьбе графа Строгонова; если он откажет в третий раз, то в это царствование вы уж, конечно, не поедете к *водам*». Дубельт посоветовал добиваться снятия полицейского надзора, а затем на общих основаниях получить разрешение для поездки «к каким хотите *водам*».

Накануне отъезда из Петербурга, когда уже был взят билет на дилижанс, снова возникла преграда. Кокошкин, требовавший покинуть столицу в двадцать четыре часа, теперь не давал разрешения на выезд — на том основании, что было позволено оставаться в Петербурге «сколько хочет».

Наконец вечером 14 октября 1846 года Герцен выехал из Петербурга. Миновали городскую заставу. Когда город остался позади, он дал себе клятву — «не возвращаться в этот город самовластья голубых, зеленых и пестрых полиций, канцелярского беспорядка, лакейской дерзости, жандармской поэзии...».

Впечатления от последней поездки в столицу в 1846 году отразились в небольшом рассказе Герцена «Станция Едрово», написанном в октябре того же года, вскоре после возвращения в Москву. В свой рас-

сказ Герцен включил несколько вариаций очерка «Москва и Петербург». Приспосабливая очерк к требованиям цензуры, он исключил все политически острые места. Однако и в такой препарированной «в видах цензуры» редакции рассказ натолкнулся на сопротивление председателя московского цензурного комитета Д. П. Голохвастова. 18 декабря 1846 года цензор И. И. Снегирев в своем дневнике сделал запись: «Поутру я ездил к Д. П. Голохвастову с статьями для «Городского листка»: «Едрово» Герцена и «Записки современника», кои он нашел сомнительными и непозволительными».

Рассказ «Станция Едрово» был напечатан лишь в марте 1847 года, уже после отъезда Герцена за границу. В нем Герцен возвращается к тем же вопросам, которые были затронуты в очерке «Москва и Петербург», но решает их уже иначе.

Герцен по-прежнему подчеркивает различие между Москвой и Петербургом; как и прежде, объектом его сатиры остается и дворянская Москва и императорский, бюрократический Петербург. Но акцент сделан уже не на противоположности двух столиц, а на их взаимном влиянии. Герцен называет «чистейшим вымыслом» антагонизм, якобы существующий между Москвой и Петербургом: «...в последний век Москва состояла под влиянием Петербурга и сама многое доставляла ему; он вызвал наружу ее сильную производительность; беспрерывный обмен, беспрерывное сношение поддерживали живую связь обоих городов».

Если в очерке «Москва и Петербург» Герцен отрицал прогрессивную роль Петербурга, называя его городом без истории и без будущего, то в «Станции Едрово» он уже признает за столицей цивилизаторскую

роль: «...весь образ современной жизни, все удобства цивилизации: и великий Московский университет, и знаменитый Английский клуб, и дворянское собрание, и Тверской бульвар, и Кузнецкий мост — все это принадлежит не кошихинским временам, а влиянию петербургской эпохи».

Новый взгляд на Петербург вырабатывался у Герцена не без влияния Белинского. В 1845 году в сборнике «Физиология Петербурга» была напечатана статья Белинского «Петербург и Москва». Великий критик, при всей своей ненависти к самодержавию, к петербургской бюрократии, более глубоко и объективно, чем Герцен в его первой статье, оценивал историческую роль Петербурга. С точки зрения Белинского, Петербург, основанный Петром I как столица новой России, является «представителем новизны», в нем — залог будущего развития страны.

Отдельными своими положениями статья Белинского полемически направлена против высказываний Герцена в очерке «Москва и Петербург». Критик называет «нелепостью, не стоящей опровержения», мнение, что Петербург — «город неисторический, без предания...». Не называя имени Герцена, Белинский имеет здесь в виду его утверждение, что у Петербурга «нет веками освященных воспоминаний, нет сердечных связей с страной...».

Белинский полемизирует с Герценом, отрицавшим в Петербурге оригинальность, самобытность, возражает и против некоторых других его утверждений.

Через несколько дней после возвращения в Москву пришло извещение о снятии полицейского надзора. Вскоре был получен и паспорт для поездки за границу.

19 января 1847 года Герцен с женой, матерью и детьми выехал из Москвы. Их провожали друзья. Длинной вереницей потянулись тройки к Черной Грязи — первой станции на Петербургском тракте, где меняли лошадей. Здесь по давней традиции устраивались проводы. Дружеские объятия, заверения в любви, преданности...

Герцен не знал тогда, что ему не придется больше увидеть родину.

«ПРИЗНАНЬЕ ДЕЛА ВСЕЙ... ЖИЗНИ»



имой 1853 года в Лондоне появилась листовка, напечатанная литографским способом на тонкой голубой бумаге. Сверху — четкий заголовок «Вольное русское книгопечатание в Лондоне», внизу — замысловатой вязью выведено обращение: «Братьям на Руси». В листовке говорилось: «Если мы все будем сидеть сложа руки и довольствоваться бесплодным ропотом и благородным негодованием, если мы будем благоразумно отступать от всякой опасности и, встретив препятствие, останавливаться, не делая опыта ни перешагнуть, ни обойти, тогда долго не придут еще для России светлые дни. Ничего не делается само собой, без усилий и воли, без жертв и труда. Воля людская, воля одного твердого человека — страшно велика».

Под этим страстным призывом к деятельности и борьбе стояла подпись: Александр Герцен и дата — 21 февраля 1853 года.

Так Герцен извещал своих соотечественников на Родине о создании Вольной русской типографии и обращался «ко всем свободномыслящим русским» с при-

зывом участвовать в ее работе. За первым воззванием последовали и другие — «Юрьев день!», «Поляки прощают нас», «Вольная русская община в Лондоне»... Издания Герцена проникали в Россию. Многие высокопоставленные чиновники в Петербурге получали их прямо по почте.

В 1850—1860-х годах в Вольной русской типографии публиковались произведения Герцена и Огарева, были напечатаны запрещенные цензурой произведения Рылеева, Пушкина, Лермонтова и других русских поэтов, выпускались альманах «Полярная звезда» и газета «Колокол», печатались воспоминания и письма декабристов, сборники исторических документов и многие другие материалы. Это была целая библиотека революционной литературы.

В статье «Памяти Герцена» В. И. Ленин писал: «Герцен создал вольную русскую прессу за границей — в этом его великая заслуга. «Полярная Звезда» подняла традицию декабристов. «Колокол» (1857—1867) встал горой за освобождение крестьян. Рабье молчание было нарушено». По определению Ленина, Герцен «первый поднял великое знамя борьбы путем обращения к массам с *вольным русским словом*».

Великая Октябрьская социалистическая революция сняла запрет, тяготевший над именем Герцена в России, и сделала его произведения достоянием широких народных масс.

Уже в 1918—1923 годах в Петрограде массовым тиражом вышли повесть Герцена «Сорока-воровка», роман «Кто виноват?», отдельные главы «Былого и дум».

Еще в 1907 году известный историк русского освободительного движения М. К. Лемке приступил к подготовке первого в России «Полного собрания сочинений и писем А. И. Герцена». До 1917 года удалось

выпустить лишь восемь томов. После Октябрьской революции Советское правительство, несмотря на трудности военного времени, взяло на себя продолжение издания. Горячее участие в его осуществлении принял А. М. Горький. В 1918 году он писал А. В. Луначарскому: «Дорогой Анатолий Васильевич! По расчету И. П. Ладыжникова, издание сочинений Герцена в 20 томах при тираже в 25.000 экз. будет стоить 2.600.000 р., продажная цена тома — 10 р., а экземпляра — 200. Но, несмотря на такую дороговизну, я лично все-таки высказался бы за издание. Это было бы первое действительно полное собрание сочинений Герцена, которого мы все-таки мало знаем, — как об этом свидетельствуют 8 томов, изданных М. Лемке. Это был бы достойный Герцена памятник и хорошее культурное дело».

Последний, двадцать второй том «Полного собрания...» вышел в Ленинграде в 1925 году.

В апреле 1918 года Совет Народных Комиссаров принял решение о сооружении памятников выдающимся деятелям революционного движения, науки, литературы и искусства. Это был грандиозный план монументальной пропаганды, разработанный В. И. Лениным и осуществлявшийся под его систематическим контролем.

Согласно ленинскому плану скульптор Л. В. Шервуд приступил к созданию памятника Герцену. О своей работе Шервуд писал: «Мне хотелось в нем выявить образ как бы апостола революции. Для постановки памятника мне предложили место на Выборгской стороне. Я выбрал угол Литейного моста против Артиллерийской академии... Памятник Герцену я решил простыми монументальными формами, которые здесь были необходимы, чтобы преодолеть громадное про-

странство Невы. Для этого же я окрасил бюст в цвет терракоты. Памятник был торжественно открыт зимой 1919 года в сильно морозный день».

Подробности торжества сохранила репортерская заметка в петроградской газете «Искусство коммуны» от 2 марта 1919 года. Бюст Герцена был установлен на Арсенальной набережной у Литейного моста. Открытие состоялось 23 февраля 1919 года. Делегации заводов Выборгской стороны во главе со своими знаменосцами выстроились полукругом около памятника. Торжественный митинг открыл нарком просвещения А. В. Луначарский. Рассказав о жизни Герцена, охарактеризовав его как писателя и революционера, Луначарский отметил, что Красный Петроград воздвигает первый памятник Герцену в России. Он напомнил, что торжество его открытия совпало с праздником Красной Армии, отмечающей в этот день свою первую годовщину.

Вторую речь произнес М. К. Лемке. От имени детей и внуков Герцена, с которыми он находился в постоянной переписке, он выразил глубокую благодарность рабоче-крестьянскому правительству, соорудившему памятник.

Под звуки «Интернационала» с памятника было снято красное покрывало. Собравшиеся увидели бюст Герцена, поставленный на высокий прямоугольный пьедестал. Под бюстом — скромная табличка с надписью: «А. Герцен». По мнению Луначарского, бюст Герцена принадлежал к числу тех памятников первых лет революции, которые вполне заслуживают быть перелитыми в бронзу, но, выполненный из недолговечного материала, он не сохранился.

В январе 1920 года молодая Советская республика торжественно чествовала память Герцена в связи с 50-летием со дня его смерти. В Москве, Петрограде и



Открытие памятника А. И. Герцену в Петрограде 23 февраля 1919 г.

других городах широко развернулась подготовка к юбилею.

Торжественно прошли герценовские дни в Петрограде. 10 января Петроградский комитет РКП(б) организовал в Гербовом зале Зимнего дворца выступление М. К. Лемке перед лекторами-пропагандистами. 18 января в «Петроградской правде» было напечатано постановление Исполкома Петроградского Совета: «21 января 1920 года, в день 50-летия смерти Герцена, устроить общенародное чествование памяти славного борца за свободу и великого трибуна вольного слова в тор-

жественном заседании Совета, на которое приглашаются представители труда, литературы, искусства и науки.

День 21 января объявить днем свободным от учебных занятий и предложить всем учебным заведениям устроить чтения и лекции о Герцене.

Предложить всем культурно-просветительным учреждениям Петрограда отметить день устройством лекций о Герцене и всем театральным предприятиям в той или иной форме отметить память о Герцене в программе 21 января.

Установить в доме на Морской ул., где жил Герцен, памятную доску, а Морскую улицу переименовать в улицу Герцена...

Переименовать III педагогический институт в институт имени Герцена.

Организацию торжественного чествования и установку памятной доски возложить на Музей революции».

На первой странице юбилейного номера «Петроградской правды» от 21 января 1920 года был напечатан портрет Герцена, на месте передовой — извещение президиума Исполкома Совета и коллегии Музея революции: «21-го января, в 5 час. дня, в Николаевском зале Дворца Искусств (бывший Зимний дворец, вход с набережной) состоится торжественное чествование памяти Герцена по случаю 50-летия со дня его смерти».

После торжественного собрания в Зимнем дворце присутствующие при свете факелов и с пением революционных песен направились на Морскую улицу. Здесь на фасаде дома № 25 была закреплена мемориальная доска (в 1955 году она была возобновлена).

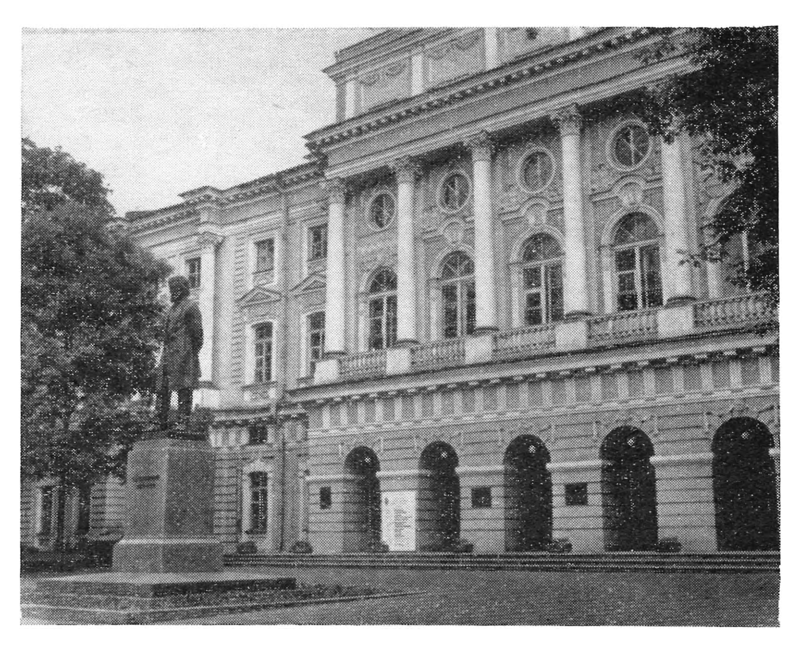
В тот же день во всех красноармейских клубах Петрограда и его окрестностей были прочитаны лекции и доклады о Герцене. Для школьников вместо обычных занятий проводились беседы о жизни и творчестве писателя-революционера.

В Петрограде в герценовские дни вышли в свет сборники, книги, брошюры, посвященные Герцену, появились журнальные и газетные публикации его произведений. Отдельным изданием вышла статья В. И. Ленина «Памяти Герцена». 21 января 1920 года Музей революции выпустил однодневную газету «Колокол». Материалы о Герцене были опубликованы в январском номере журнала «Пламя», издававшемся Петроградским Советом рабочих и красноармейских депутатов.

В 1918 году в Петрограде был организован педагогический институт. Это было первое высшее педагогическое учебное заведение, созданное Советской властью после Октябрьской революции. 1 февраля 1920 года, в связи с присвоением институту имени Герцена, состоялось торжественное заседание преподавателей и студентов.

В первые годы Советской власти началось интенсивное собирание огромного рукописного наследия Герцена. Большая часть его рукописей хранится в научных учреждениях, библиотеках, архивах нашего города.

На набережной Макарова, на берегу Малой Невы, возвышается здание в классическом стиле, увенчанное круглой башней с куполом. Во времена Герцена здесь находилась таможня. Власти неоднократно предписывали таможенным чиновникам подвергать все привозимые из-за границы книги строжайшему досмотру, чтобы не допустить проникновения в Россию изданий Вольной русской типографии.



Главное здание Ленинградского педагогического института имени А. И. Герцена. *Фотография 1970 г.*

Сейчас в здании бывшей таможни размещается Институт русской литературы (Пушкинский дом). В отделе рукописей, библиотеке, музее этого всемирно известного научного учреждения собраны ценнейшие художественные и документальные материалы, связанные с жизнью и творчеством Герцена. Это рукописи его произведений, письма к многочисленным русским и зарубежным корреспондентам, издания Вольной

русской типографии — «Крещеная собственность», «Полярная звезда», «Голоса из России», «Письма из Франции и Италии», «Стихотворения Н. Огарева», «Былое и думы», «Записки декабристов» и другие издания.

Интереснейшую часть собрания Пушкинского дома составляют портреты, гравюры, литографии, фотографии и некоторые вещи Герцена. Среди них — медаль в память первого десятилетия вольной русской печати, выбитая в Лондоне в 1863 году, дорожная чернильница и портсигар Герцена и другие мемориальные материалы.

В литературном музее Пушкинского дома к 150-летию со дня рождения Герцена была развернута посвященная ему выставка.

Герценовские материалы, в том числе редкие издания его произведений, хранятся в фондах Библиотеки Академии наук в Ленинграде и в научной библиотеке имени М. Горького Ленинградского университета.

С западной стороны площади Декабристов, под прямым углом к набережной Невы, высятся два здания, украшенные лоджиями и аллегорическими изображениями — «Закон и Правосудие», «Беспристрастность», «Истина», «Мудрость», «Благочестие», «Вера»... Соединенные величественной триумфальной аркой, здания слились в единый архитектурный ансамбль. Это бывшие Сенат и Синод, построенные К. И. Росси в 1827—1835 годах. Собравшиеся здесь члены правительствующего Сената 22 марта 1851 года постановили лишить Герцена всех прав состояния и считать изгнанным навсегда из пределов России.

Сейчас в зданиях Сената и Синода помещается Центральный государственный исторический архив, где сосредоточены фонды высших и центральных учреждений царской России XIX и начала XX века. В ЦГИА

сохранились многочисленные документы, отражающие борьбу царского самодержавия с Герценом: материалы о запрещении его произведений, о лишении его прав состояния, планы борьбы правительства против проникновения в Россию изданий Вольной русской типографии. Особый интерес представляют рапорты полицейских чиновников об уничтожении «установленным порядком» произведений Герцена. К рапортам в качестве вещественных доказательств приложены отдельные экземпляры уничтоженных книг.

Наиболее полная коллекция изданий Вольной русской типографии собрана в Государственной Публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина — от первых прокламаций, напечатанных на лондонском станке, до последних изданий Герцена и Огарева, вышедших в Женеве в 1869 году.

Наследие Герцена не только бережно хранится, но и глубоко изучается.

Весомый вклад в изучение творчества и деятельности Герцена вносят ленинградские литературоведы, историки, педагоги, лингвисты, текстологи. В изданиях Ленинградского университета, Института русской литературы, Государственного педагогического института напечатаны ценные исследования о жизни и творчестве Герцена.

Ученые Ленинграда наряду с учеными Москвы, Саратова и других научных центров страны участвовали в подготовке академического Собрания сочинений Герцена в 30 томах.

Изучение наследия великого революционера-демократа стало одной из традиций Педагогического института имени А. И. Герцена. В 1920 году М. К. Лемке начал читать здесь цикл лекций «Герцен и современная ему эпоха русской жизни». С тех пор для будущих

учителей систематически читаются специальные курсы лекций о Герцене, проводятся спецсеминары.

Разработка наследия Герцена осуществляется коллективами кафедр литературы, педагогики, истории, русского языка. Жизни и творчеству Герцена посвящены несколько томов «Ученых записок» института.

Ежегодно в апреле, когда советская общественность отмечает годовщину рождения Герцена, в стенах института проводятся научные конференции — Герценовские чтения. Краткое содержание прочитанных докладов публикуется в специальных сборниках.

Фундаментальная библиотека пединститута в течение многих лет ведет большую работу по собиранию библиографии о Герцене. Изданные ею материалы являются самыми полными справочниками советской литературы о Герцене.

В Ленинграде имя Герцена носит еще одно культурно-просветительное учреждение — библиотека Смольнинского района, разместившаяся в просторном, специально оборудованном помещении на Новгородской улице, 27. Это одна из первых библиотек, открытых в нашем городе после Октябрьской революции. В 1968 году общественность Смольнинского района, многочисленные читатели торжественно отметили полувековой юбилей библиотеки. В 1962 году, в связи со 150-летием со дня рождения Герцена, библиотеке была вручена памятная медаль, выпущенная к знаменательной дате.

Ленинградцы, как и все советские люди, свято чтут память Герцена — писателя, сыгравшего, по определению В. И. Ленина, «великую роль в подготовке русской революции».

УКАЗАТЕЛЬ АДРЕСОВ

Здесь жил Герцен

Годы	Исторический адрес	Современный адрес	Современное состояние дома
Декабрь 1839	Гостиница дилижансов. Царскосельский пр., 7, дом Ф. Д. Серапина	Московский пр., 20	Сохранился
	Гостиница «Лондон». Угол Невского пр. и Адмиралтейской пл.	Невский пр., 1	Не сохранился
Май 1840	Трактир Демута. Мойка, дом Тиран, у Зеленого моста	Наб. р. Мойки, 40	Перестроен
Iай—июнь 1840	Дом Опекунского совета. Большая Мещанская ул., 4, 2-я часть, 2-й квартал	Ул. Плеханова, 3	Надстроен 4-й этаж
юнь 1840—юнь 1841	Большая Морская ул., дом Лерхе, угол Гороховой ул.	Ул. Герцена, 25, угол ул. Дзержинского, кв. 21	Сохранился
Октябрь 1846	Фонтанка, 16, дом Урусовой, угол Итальянской ул.	Наб. р. Фонтанки, 19	Перестроен

Годы	Владельцы квартир и названия учреждений	Исторический адрес	Современный адрес	Современно состояние дома
1839	С. Л. Левицкий	Невский пр., 3, дом Петелиа	Невский пр., 4	Сохранил
	А. А. Яковлев	Английская наб., 42 (собственный дом)	Наб. Красного флота, 42	Сохранил
	И. Я. Лисенко	Невский пр., Московской части, дом духовно-учебного управления Синода	Невский пр., 59	Сохранил
	В. А. Жуковский	Зимний дворец («Шепелевский дом»)	Ул. Халтурина, участок дома № 35	Не сохранился
1840—1841	К. И. Арсеньев	Офицерская ул., 2-й Адмиралтейской части (близ Большого театра), 20, дом Гергарда	Ул. Декабристов, 19	Сохранил
	М. П. Носков	В. О., 1-я линия, дом Высшего коммерческого пансиона	В. О., 1-я линия, 28	Сохранил
	Министерство внутренних дел	Чернышева пл.	Наб. р. Фонтанки, 57	Сохранил

Годы	Владельцы квартир и названия учреждений	Исторический адрес	Современный адрес	Современное состояние дома
	III отделение собственной е. и. в. канцелярии	Пантелеймоновская ул., 9	Ул. Пестеля, 9	Перестроен
	В. Г. Белинский	В. О., 2-я линия, против Академии художеств, дом Е. Л. Бема, кв. 7	В. О., 2-я линия, участок дома № 3	Не сохранился
1841	Д. Н. Бологовский	Большая Морская ул., 1. Адмиралтейская часть, дом Косиковского	Ул. Герцена, 14	Сохранился
	В. Ф. Одоевский	Фонтанка, дом Долгорукова (у Аничкова моста)	Наб. р. Фонтанки, 35	Сохранился
ктябрь 1846	А. Л. Витберг	Малая Итальянская ул., дом Мюссард	Ул. Жуковского, 6	Перестроен
	А. В. Никитенко	Владимирский пр., угол Графского пер., дом Фридерикса	Владимирский пр., 13	Сохранился
	М. П. Носков	Угол Загородного пр. и Чернышева пер., дом Коммерческого училища	Загородный пр., 13, угол ул. Ломоносова	Сохранился

Продолжени

Годы	Владельцы квартир и названия учреждений	Исторический адрес	Современный адрес	Современное состояние дома
	Книжная лавка М. Д. Ольхина	Невский пр., дом Заветнова, 3-я Адмиралтейская часть, 1-й квартал	Невский пр., участок дома № 58	Не сохранился
	Книжная лавка А. Ф. Смирдина	Невский пр., дом Лютеранской церкви	Невский пр., 22	Надстроен

ЛИТЕРАТУРА

Ленин В. И. Памяти Герцена. Полн. собр. соч., т. 21.

Ленин В. И. Роль сословий и классов в освободительном движении. Полн. собр. соч., т. 23.

Ленин В. И. Из прошлого рабочей печати в России. Полн. собр. соч., т. 25.

Герцен А. И. Сочинения и переписка с Н. А. Захарьиной, тт. I—VII. С прим., указателем и 8 снимками, т. VII. Спб., Ф. Павленков, 1905.

Герцен А. И. Полное собрание сочинений и писем, тт. I—XXII. Под ред. М. К. Лемке. Пг. Лит.-изд. отдел Наркомпроса — ГИЗ, 1915—1925.

Герцен А. И. Собрание сочинений, тт. I—XXX. М., Изд-во АН СССР, 1954—1966.

Герцен Н. А. Письма к А. И. Герцену. В кн.: «Братская помощь пострадавшим в Турции армянам». М., 1897.

Андрианов С. А. Ольга Александровна Жеребцова. «Исторический вестник», 1895, декабрь.

Ацаркина Э. К. П. Брюллов. Жизнь и творчество. «Искусство», 1963.

Башуцкий А. Возобновление Зимнего дворца. Спб., 1839.

Богучарский В. Третье отделение собственной е. и. в. канцелярии о себе самом. «Вестник Европы», 1917, кн. 3.

«Большой театр. Физиологическо-философическо-типический очерк». «Репертуар и Пантеон», 1845, кн. III.

«К. П. Брюллов в письмах, документах, воспоминаниях современников». 2-е изд. М., изд. Академии художеств СССР, 1961.

Варадинов Н. История министерства внутренних дел. Спб., 1862.

Варшавская М. Я. Стихотворение Пушкина и картина Рафаэля. Л., Гос. Эрмитаж, 1949.

Вольф А. Хроника петербургских театров, ч. 1—3. Спб., 1877—1884.

Гозенпуд А. А. Музыкальный театр в России. От истоков до Глинки. Очерк. Л., Музгиз, 1959.

Гурьев В. Учреждение торцовых дорог и сухопутных пароходов в России. Спб., 1837.

Данилов С. С. Постоянные публичные театры в Петербурге в XIX веке. В кн.: «О театре. Сборник статей. Временник отдела истории и теории театра». Л., «Academia», 1929.

Игнатов И. Н. Театр и зрители, ч. 1. Первая половина XIX столетия. М., 1916.

Ковалевская Е. А. Изобразительные материалы и памятные предметы А. И. Герцена. В кн.: «Описание изобразительных материалов Пушкинского дома». VII. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1962.

«Колокол». Однодневная газета памяти А. И. Герцена. Под ред. М. К. Лемке. Пб., 21 января 1920 г.

Копанев А. И. Население Петербурга в первой половине XIX века. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1957.

«Литературные памятные места Ленинграда». Лениздат, 1968.

Лищинер С. Д. Письмо А. И. Герцена к С. Л. Левицкому. «Известия АН СССР. Отд. литературы и языка», 1962, т. XXI, вып. 2.

«Министерство внутренних дел. Исторический очерк. 1802—1902». Спб., 1902.

Морозов С. Первые русские фотографы-художники. М., Госкиноиздат, 1952.

Нейман М. Л. Ленинский план «монументальной пропаганды» и первые скульптурные памятники. В кн.: «История русского искусства», т. XI. М., Изд-во АН СССР, 1957.

Некрасова Е. Герцен, его хлопоты о заграничном паспорте и последняя поездка в Петербург. «Русская мысль», 1904, № 10.

Нечаева В. С. В. Г. Белинский. Жизнь и творчество. 1836—1841. М., Изд-во АН СССР, 1961.

«Памятники архитектуры Ленинграда», 2-е изд. Изд-во литературы по строительству, 1969.

Оксман Ю. Г. Летопись жизни и творчества В. Г. Белинского. М., Гослитиздат, 1958.

«Очерки истории Ленинграда», т. 1. Изд-во АН СССР, 1955.

«Пушкинский Петербург». Сб. под ред. Б. В. Томашевского. Лениздат, 1949.

Пыляев М. И. Старый Петербург. Спб., 1887.

Реизов Б. Г. Французская романтическая историография. (1815—1830). Ленинградский университет, 1956.

Рейсер С. А. Революционные демократы в Петербурге. Лениздат, 1957.

Рогачевский В. Леонид Владимирович Шервуд. М., «Советский художник», 1955.

Стасов В. В. Гоголь и русские художники в Риме. «Древняя и новая Россия», 1879, XV, декабрь.

Степанов Н. Н. Исторические взгляды А. И. Герцена в тридцатых годах. «Уч. записки ЛГПИ им. А. И. Герцена», т. 237. Л., 1963.

Столпянский П. Н. Петербург. Как возник, основался и рос Санкт-Питербурх. Пг., 1918.

«Третий педагогический институт им. А. И. Герцена». «Педагогическая мысль», 1920, № 4—6.

«Шекспир и русская культура». Под ред. М. П. Алексеева. «Наука», 1965.

«Эрмитажная галерея, гравированная штрихами с лучших картин, оную составляющих, и сопровождаемая историческим описанием, сочиненным Камилем, уроженцем женевским». С французского перевел Сергей Глинка. Издано Ф. И. Лабенским. Спб., MDCCCV—MDCCIX.

Яцевич А. Г. Пушкинский Петербург, 2-е изд. Л., 1935.

Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., Гослитиздат, 1960.

<Драшусова-Карлгоф> Е. А. Жизнь прожить — не поле перейти. Записки неизвестной. «Русский вестник», 1881, № 10.

«Герцен в воспоминаниях современников». М., Гослитиздат, 1956.

Зотов В. Р. Петербург в сороковых годах. «Исторический вестник», 1890, № 4.

Комаровский Е. Ф. Записки. Спб., 1914.
Левицкий С. Л. Из воспоминаний старого фотографа. «Фотографический ежегодник П. М. Дементьева». Спб., 1892.
Никитенко А. В. Дневник, т. 1. М., Гослитиздат, 1955.
Панаева А. Я. Воспоминания. М., Гослитиздат, 1956.
Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., Гослитиздат, 1950.
Пассек Т. П. Из дальних лет. Воспоминания, тт. 1—2. М., Гослитиздат, 1963.
Снегирев И. М. Дневник. «Русский архив», 1903, кн. 2.
Соллогуб В. А. Воспоминания. М.—Л., «Academia», 1931.
Шервуд Л. В. Воспоминания о монументальной пропаганде в Ленинграде. «Искусство», 1939, № 3.

«Известия Петроградского Совета Рабочих и Красноармейских депутатов», 1920, № 10.
«Искусство коммуны», 1919, № 13.
«Литературные прибавления к „Русскому инвалиду“», 1837, № 45; 1839, № 10.
«Петроградская правда», 1920, № 13, 14, 15.
«Прибавления к „Ведомостям С. П. Бургской городской полиции“», 1839, № 49, 288; 1840, № 4; 1841, № 20.
«Русский инвалид», 1825, № 30; 1826, № 5, 6.
«Санкт-петербургские ведомости», 1840, № 109.
«Северная пчела», 1831, № 280; 1837, № 201, 209, 215, 216, 228, 251, 262; 1839, № 204; 1840, № 1, 116, 167, 180, 196, 209; 1845, № 241; 1849, № 49.
«Художественная газета», 1840, № 18.

Греч Н. Весь Петербург в кармане. Справочная книга для столичных жителей и приезжих... 2-е изд. Спб., 1851.
«Карманный указатель Санкт-Петербурга с планом и 20-ю видами». Спб., 1841.
«Краткий отчет санкт-петербургского обер-полицмейстера за 1839 год». Спб., 1840.
«Ленинград. Энциклопедический справочник». М.—Л., БСЭ, 1957.
Матвеев В. М. С.-петербургский путеводитель, ч. 1—2. Спб., 1854.

Нистрем К. М. Адрес-календарь санкт-петербургских жителей, составленный по официальным документам и сведениям К. Нистремом, тт. 1—3. Спб., 1844.

«Нумерация домов в С.-Петербурге». Спб., 1836.

«Памятная книжка на 1840 год». Спб., 1839.

Пушкарев И. И. Описание Санкт-Петербурга и уездных городов Санкт-Петербургской губернии, ч. 1—2. Спб., 1839.

Пушкарев И. Путеводитель по Санкт-Петербургу и окрестностям его. Спб., 1843.

«Российский почтовый дорожник...». Спб., 1841.

«Устав первоначального в России заведения дилижансов». Спб., 1831.

Цылов Н. Атлас тринадцати частей С.-Петербурга. Спб., 1849.

Цылов Н. Алфавитный указатель к Атласу тринадцати частей С.-Петербурга. Спб., 1849.

Центральный государственный исторический архив СССР в Ленинграде (ЦГИА)

О выдаче бывшему вятскому губернатору Тюфяеву аттестата об отставке — ф. 1284, оп. 24, ед. хр. 93, № 1870.

По высочайшему повелению о вступлении генерал-адъютанта гр. Строганова в управление Министерством внутренних дел — ф. 1284, оп. 24, ед. хр. 62, 1839, 2 отд., 3 стол.

Об определении действительного студента Львицкого в канцелярию министра внутренних дел — ф. 1284, оп. 24, ед. хр. 131, 1839, № 2738.

О составлении отчета Министерства внутренних дел за 1839 год — ф. 1284, оп. 25, ед. хр. 37, № 2178, 2 отд., 2 стол.

Проект годового отчета по Министерству внутренних дел — ф. 1284, оп. 25, ед. хр. 49, 1840, 2 отд., 2 стол.

Отчет управляющего Министерством внутренних дел за 1839 год (с приложениями) — ф. 1284, оп. 26, ед. хр. 37.

Отчет по Министерству внутренних дел за 1840 год — ф. 1284, оп. 26, ед. хр. 25, 2 отд., 2 стол.

О представлении г. управляющего Министерством внутренних дел сведений к отчету Министерства за 1840 год, извлеченных из дел канцелярии — ф. 1284, оп. 26, ед. хр. 36, 1 отд., 1 стол.

О дозволении журнала «Московское обозрение» — ф. 772, оп. 1, ед. хр. 1738, 1844.

О службе чиновников Департамента общих дел Министерства внутренних дел — ф. 1349, оп. 5, ед. хр. 4499, 1847.

О перемещении служащего в Московском главном архиве 10 класса Дмитрия Засядко в число канцелярских чиновников третьего Департамента Сената — ф. 1347, оп. 94, ч. 1, ед. хр. 122, 1846.

Об определении экзекутором при Опекунском совете колл. асессора Петра Орлова — ф. 758, оп. 7, ед. хр. 495.

Ленинградский государственный исторический архив (ЛГИА)

О службе профессора астрономии Алексея Савича — ф. 14, оп. 1, ед. хр. 4659, 1843; оп. 1, ед. хр. 4417; оп. 3, ед. хр. 6125, связка 616, 1839.

Об определении в коммерческое училище надзирателем при воспитанниках коллежского асессора Михаила Носкова — ф. 239, оп. 1, ед. хр. 1448, связка 77, 1843.

Дом Третьяковой Е. А., Адмиралтейской части, 2 участка, Английская наб. реки Б. Невы, № 42, Галерная ул., № 43 — ф. 513, оп. 102, ед. хр. 70, 1852.

Дом Елисеева, 1 Адмиралтейской части, 2 квартал, № 131— ф. 513, оп. 102, ед. хр. 151, 1827.

Отдел рукописей Гос. Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина — архив В. Ф. Одоевского, II, № 363 (сообщено М. И. Медовым).

ОГЛАВЛЕНИЕ

Марк Константинович Перкаль

ГЕРЦЕН В ПЕТЕРБУРГЕ

Редактор *Е. И. Морозова*
Художник *А. С. Ковалев*
Художник-редактор *О. И. Маслаков*
Технический редактор *А. В. Семенова*
Корректор *Э. Г. Поварская*

Сдано в набор 23/XI 1970 г.
Подписано к печати 14/VI 1971 г.
Формат бумаги 70×108 1/32. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 9,45. Уч.-изд. л. 8,45+вкл. Тираж 50 000 экз.
М-35117. Заказ № 1701/л

Лениздат, Ленинград, Фонтанка, 59
Ордена Трудового Красного Знамени типография им. Володарского Лениздата, Фонтанка, 57

Цена 60 коп.